

# Владимир Тендряков

---

Собрание сочинений  
в пяти томах



МОСКВА  
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
1989

# Владимир Тендряков

---

Собрание сочинений  
ТОМ ПЯТЫЙ

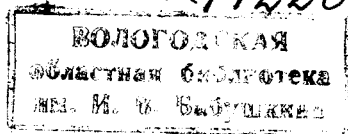
Повести  
Покушение на миражи  
РОМАН



МОСКВА

„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1989 К 1122683



PC  
ББК 84P7  
Т33

P2 + KP

Составление, примечания и подготовка текста  
Н. Асмоловой-Тендряковой

Оформление художника  
В. Мирошниченко

4702010201—210  
Т 028(01)—89 подписное

ISBN 5—280—00158—9 (Т. 5) 1989 г.  
ISBN 5—280—00155—4

© Состав. Примечания. Оформление. Издательство «Художественная литература»,

# Повести

---

Пусть разгорится сердце твое, и  
тело твое, и душа твоя до меня, и до  
тела моего, и до виду до моего.  
*Берестяная грамота XV в. — древнейшее  
русское любовное письмо, дошедшее  
до нашего времени*

# Затмение

## Глава первая

### РАССВЕТ

#### 1

«Четвертого июня 1974 года произойдет частное лунное затмение. Оно будет доступно наблюдениям в европейской части и в западных районах азиатской части Советского Союза, кроме местностей, лежащих за Северным Полярным кругом, где Луна в этот день не восходит над горизонтом.

Лунный диск не весь покроется земной тенью — в ней окажется 83% его диаметра. Луна будет находиться в созвездии Змееносца, примерно в  $6^\circ$  северо-восточнее звезды Антарес ( $\alpha$  Скорпиона), и пройдет сквозь южную область земной тени».

Она случайно наткнулась на это сообщение и загорелась: за свои неполных двадцать два года еще ни разу не видела лунного затмения. «Хочу видеть!» И она считала бы себя обворованной, если б это «хочу» исполнилось просто, без особых затруднений и препятствий — дождись часа, выйди ночью на балкон, полюбуйся через крыши соседних домов на убывающую Луну. Едва ли не каждое ее желание вырастало в сложную кампанию, требующую подготовки, расчета, самоотверженности со стороны других людей. В последнее время главным образом — моей.

Как можно наблюдать затмение в городе, где дома наполовину заслоняют небо, а уличные фонари назойливо лезут в глаза. «Это все равно что слушать музыку под железнодорожным мостом». Она умела находить обезоруживающие сравнения. Надо ехать за город, и подальше —

в самое что ни на есть необжитое место. А затмение начинается без двадцати минут двенадцать, кончится же почти в три часа ночи! Ее добропорядочные родители — единственная дочь! — должны были прийти в смятение: на всю ночь за город! Нет, нет, они нисколько не сомневались в моей высокой нравственности, но мало ли чего... Был же случай, когда парня и девушку, возвращавшихся поздно из загородной прогулки, столкнули с электрички на полном ходу.

Однако Луна не считалась с благоразумием, затемнялась тогда, когда все нормальные люди засыпают в своих постелях. Родители же, увы, должны были считаться с Майей.

Я часто наблюдал, как где-нибудь на автобусной остановке кто-то бросал скучающий взгляд на Майю — и вздрагивал, и смущался, косился исподтишка, не смея оскорбить ее откровенным, пазойливым любопытством. У нее короткие густые, чуть волнистые волосы, очень темные, но не черные, на ярком свете слегка отливающие бронзой. Под ними сумрачные до суровости брови. Лицо же нежно-смуглое, беспокойное, молящее — губы в трагическом изломе, в глазах тревожное неутухающее тление. У меня она вызывала непроходящее щемящее желание успокоить, чтоб исчез трагический излом губ: до чего слабое существо! Но это слабое существо меньше всего хотело покоя. Пожилые, уравновешенные шоферы такси неслись по городу сломя голову потому только, что Майя неизменно им роняла: «Побыстрее, пожалуйста». Однажды ей пришла в голову шальная мысль — взглянуть на город с высоты старой Брандмейстерской башни, откуда в оны времена, еще до революции, дежурные пожарники высматривали городские пожары. И она полезла по отвесной ржавой лестнице вверх, мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Появился разъяренный милиционер, согнал нас, стал грозиться, что отведет в отделение, а кончилось тем, что он сам с нами полез на башню, оставив свой пост на улице.

Она диктатор, которому даже не нужно высказывать своих желаний, о них догадывались, их услужливо исполняли.

Я скоро понял, что трагическая складка губ и непроходящая тревога в ее распахнутых глазах — вовсе не отражение ее душевных переживаний. Просто так устроено ее лицо. Как крепкая от природы нижняя челюсть вызывает часто впечатление волевого характера, как ямоч-

ки на щеках — мягкости и беспечности, так и лицо Майи без ее участия, помимо ее желаний молило меня о помощи, и я не имел сил устоять. Давно понял — ничем не обижена, но оберегал от обид, во всем соглашался, был рабом.

Она пожелала видеть лунное затмение без домов и уличных фонарей.

— Знаешь что, поедем...

Я покорно ждал — сейчас оглушит чем-то невероятным.

— ...к Настину омуту!

Ну что ж, это не столь уж невообразимо, могло быть и хуже. Настин омут всего километрах в трех от окраины города, да в сторону от шоссе еще километр. Все-таки не откажешь — она временами не лишена даже какой-то практичности.

## 2

«Затерялась Русь в Мордве и Чуди...» Наш город на самой окраине Европы, дальше — Урал, за ним Азия. Вокруг русские деревни и села перемешаны с марийскими и татарскими. Каждое селение и до сих пор еще что-то хранит из стародавнего — язык, наряды, обычаи. Издавна здесь у всех была одинакова только нищета.

В прошлом веке наш город, тогда «уездную звериную глушь», завоевал один человек — купец-воротила Курдюков. До сих пор в центре города существуют каменные Курдюковские лабазы, а на обмелевшей реке — Курдюковская пристань.

Он, рассказывают, ходил в мужицкой поддевке, из которой выглядывали белоснежные манжеты с бриллиантовыми запонками, писал каракулями, едва разбирал по печатному, но был опорой местного просвещения — выстроил женскую гимназию, стал ее попечителем. В этой гимназии он заметил девицу редкой красоты, дочь обедневшего дворянчика с немецкой фамилией и русским именем Настасья. Курдюков купил ее у родителей, пообещал царскую жизнь. И слово свое сдержал: за городом выстроил дворец, разбил вокруг него парк, вырыл большой пруд, соединил его с рекой. Прислуга при купеческом дворце была услужлива, добывала все, что только могла пожелать курдюковская царевна. И царевна не выдержала царской жизни, весенней ночью кинулась в глу-

бокий пруд. Курдюков будто бы поджег дворец, бросил свои миллионные дела, ушел в монастырь. Пруд этот давно размыло, он стал заводью реки и называется теперь Настинным омутом. Город год от году надвигается на него, но еще не надвинулся.

Высокий речной берег развален широким оврагом. Пологие склоны этого оврага отягощены тучной черной зеленью. У самой воды в узлах и изломах толстые стволы ив. Какие-то ивы рухнули от старости прямо в омут, их сведенные судорогой ветви торчат над обмершей водой. Вода темна, незыблема, как твердь, и мрачно зеркальна. В ней опрокинутые деревья, рваные вершины уходят куда-то вглубь, в четвертое загадочное измерение. Тяжкая путаная поросль овражного склона, казалось, висит в пространстве между двумя мирами. А ее черная пучина населена — нет, набита! — лягушками, мир застойной воды и мир неба кипят от влажных картавых голосов. Воздух клокочет, трещит, стонет, и в общем вселенском хаосе выделяется один голос. Какой-то активист из активистов упоенно, вьедливым сильным тенором убеждает в чем-то несметное лягушачье общество. Без устали, многословно, с напором! И в ответ одни изумленно ухают, другие до изнеможения восторженно захлебываются, третьи крикают увесисто авторитетными басами: «Да! Да! Истинно!» Чьи-то слабенькие, неустоявшиеся голосишки суетно пытаются возражать, взывают негодующим жидким хором и безжалостно давятся не знающим устали тенором. Время от времени рядом с нами — нагнись, достанешь — раздавался умудренный стон, какая-то многоопытная и многоумная лягушка изнемогала, должно быть, от тенористой непрекращающейся болтовни.

Мы стоим на дощатом настиле, обнесенном шаткими перильцами. Мы парим над потусторонним миром, над нами мрачная бездна. А на самой середине выглаженной до зеркальности водяной тверди — пролитое тело Луны. Оно дышит, нервно вздрагивает и поеживается — живет мучительно и беспокойно. Зато сверху на мучающуюся Луну смотрит другая Луна, плоская, чеканная, величаво спокойная. Ей-ей, непохоже, чтоб она собиралась затемняться. Но к ней тянется узкое отточенное, словно лезвие ножа, облако.

Завороженная Майя вполшепота, внятным дыханием произнесла:



Золотую лягушкой луна  
Распласталась на тихой воде...

И лягушачий хор вместе с вдохновенным тенором не заглушал ее голоса.

— Вот закроет сейчас золотую, — сказал я с тревогой, указывая на отточенное облако.

Майя подняла к Луне высвеченное, туманно-прозрачное лицо, и белки ее глаз сверкнули серебром.

— Не случится. — С тихой убежденностью.

Ее запрокинутое к Луне лицо было столь зыбким — соткано из света! — что я невольно затаил дыхание: шевельнись неосторожно — и растает, исчезнет. Только неподвластное сердце набатно колотилось в ребра, да воздух кипел от влажных лягушачьих голосов, и тенор-докладчик неустанно вещал вселенские проблемы, и корчилась изнеможенно Луна посреди омута.

Глаза ее нет-нет да отсвечивали серебром. Жесткий блеск на туманном лице — даже страшно...

Такой красивой Майю я еще никогда не видел.

3

Кто-то однажды сказал: человеческие взаимоотношения начинаются с отношений между женщиной и женщиной.

Случайно ли, что понятие «любовь» у разных народов еще в глубокой древности перестало означать изначальное соединение самца и самки, а превратилось в определение самого высокого нравственного состояния. Люблю — лучше относиться я уже не могу, на большую отзывчивость не способен, это мой духовный предел, наивысшее выражение самого себя для других.

И если в последнее время все чаще стали снисходительно сводить любовь к сексу, вновь к самцово-самочьюму, то я это воспринимаю как опасный симптом человеческой деградации.

Считаю, что я, Павел Крохалев, родился двадцать девять лет тому назад в деревне Полянка для того только, чтоб предельно проявлять себя ради других, а значит, кого-то любить. И моя жизнь до сих пор не что иное, как длительный поиск — кого именно любить и через что? Блуждая среди людей, путаясь и ошибаясь, я в конце концов должен был встретиться с ней — Майей Шкановой.

В наших местах, глубинной Вологодчине, которую обошли стороной железные и шоссейные дороги, сохранился обычай: парень, уходя в армию или на заработки, срубал елочку, а «сговоренная» им девка украшала ее пестрыми лоскутками. Парень влезал на крышу дома сговоренной и прибывал елочку к коньку. Пусть она сохнет и осыпается, пусть выцветают под дождем и солнцем пестрые ленты, пусть ждет и сохнет девица, он вернется к ней. Прибитая к крыше елочка — зарок и обещание перед всем деревенским миром.

Мой отец Алексей Крочалев, уходя на фронт, прибил «зажданную елку» на дом Зинаиды Решетовой. Он вернулся через три года с осколком в легком. Осыпавшаяся, с облетевшими лоскутьями елочка нищенски стояла на крыше. Но стояла, его ждали.

Я был первым послевоенным ребенком в деревне — родился через неделю после отпразднования победы.

Отца не помню. Помню только его похороны на нашем безлесом, сиротливом кладбище. Бабы причитали на разные голоса, мать плакала молча. Теперь я понимаю: она отстрадала за отца раньше, когда ждала день ото дня... Он был давно обречен.

У меня было голодное детство. В колхозе не хватало ни людей, ни лошадей. Моя мать вместе с другими бабами впрягалась в плуг, так на себе они пахали свои усадьбы, по очереди — сегодня у одной, завтра у другой. У моей матери был один сын — не пятеро! — потому-то ей и удалось поставить меня на ноги, выучить.

Удивительней всего, когда я, окончив школу, покинул ее, она не опустилась, не обессилела, а на старости лет нашла вдруг потерянное житейское счастье — сошлась со вдовцом, столяром-колесником, готовившим колхозу сани, телеги, хомуты. У обоих были взрослые дети, оба почему-то считали себя виноватыми перед ними — остаток дней доживают не в сиротстве.

Я учился в первом классе, школа была в соседней деревне, весной приходилось месить грязь по проселку солдатскими башмаками сорок второго размера. Их принес из госпиталя отец и не успел износить. Мне приходилось наматывать по три пары портянок, чтоб не спадали, башмаки от этого становились тяжелыми, как пудовые гири. А уж если на них налипала грязь, то и вовсе неподъемны, через каждые десять шагов останавливался отдыхать.

И вот так я однажды остановился посреди поля, между двумя деревнями и увидел то, что видел каждый день

по несколько раз. Поле в старчески неопрятной прошлогодней стерне, отхлынувшее от меня в маревую даль, сквозной, стеснительно голый березнячок, и за ним, сквозным, — грозовая мутная синь дальних лесов. И в опрокинутом необъятном небе где-то невидимая глазу точка, из которой звенящей родниковой струей плещет вниз песня жаворонка.

Каждый день видел?.. Нет! Стояло всегда перед глазами, а увидел-то только теперь, открыл себе — они есть, это поле, березнячок, грозовые леса. И они были. Еще до того, как я родился на свет, уже стоял березнячок, висело небо и жаворонок обливал землю своей песней. Еще до того... Странно, мир без меня! Невозможно поверить, но мир без меня, наверное, хорошо помнят другие — моя мать, бабушка Хмырина, даже Венко Гузнов, которому скоро стукнет пятнадцать. Без меня цел жаворонок!

Откуда я? Зачем я?.. Извечные вопросы бытия, которые (мог ли я знать) мучают человечество с тех пор, как оно осознало себя.

Впрочем, на один из вопросов — зачем? — я без труда отвечал себе: «Чтобы вырасти большим». Для мальчишки это цель, определенная, не вызывающая сомнений.

Поле, березнячок, дальние леса — от пугающего невнятного прошлого, которое легко обходилось без меня, я перебросился в будущее. Оно ясней, оно проще — без меня-то будущее уж никак не обойдется. Можно лишь гадать, кем стану, если вырасту большим. Бригадиром ли, участковым милиционером или же моряком, как Гришка Ногин из Панюкова, — синий воротник, ленточки по спине, широкие штаны, ремень с бляхой. Вот бы!..

И я представил себя таким, как Гришка из Панюкова, высоким и красивым: ленточки, ремень с бляхой, глаз не отвести! Но кто-то должен любоваться мной. Кто-то столь же красивый и загадочный.

Раз я представил себя взрослым — глаз не отвести, — то должен был представить и Ее. Она встретит, увидит меня и...

Светило солнце, весенне умытое, еще не яростное, падала с неба ручейковая песня жаворонка, я стоял посреди грязного проселка в старой, свесившейся ниже колен телогрейке, в неподъемных отцовских башмаках, держа в руке узелок с букварем, и обмирал перед таинством далекой встречи.

Стать моряком — для Нее!

Вырасти большим — для Нее!

Родился на свет, выходит, тоже... для Нее! Для той встречи!

Нет, нет, столь рассудочно и логично я тогда не рассуждал. Я просто обмирал от смутного радостного ожидания...

Ожидания Ее! Еще неизвестной, еще безликой! Адам восьми лет, мечтающий о своей Еве!

Восьми лет, не рано ли?..

Но я рос полусиротой, рядом видел полусиротливую мать, удивительно ли, что — будущее возместит сиротство — стало первой моей надеждой.

Нет таких, кто, забегая мыслью вперед по жизни, рисует себя одиноким, лишенным внимания и любви со стороны людей. Любви всех людей?.. Такую всеобщую, беспредметную любовь представить просто себе нельзя. Каждый, заглядывая вперед, верит (или хочет верить), что там, в малящем далеке, есть некто, тебя ждущий, тебе предназначенный. Он верит в Нее, она — в Него!

И вот, оказывается, среди людей, среди невообразимо великого, что называется человечеством, есть кто-то, от кого ты ждешь внимания и любви, а значит, чувствуешь, со стороны людей нет к тебе равнодушия, сам, в свою очередь, не можешь быть к ним равнодушным. Выходит, что путь к людям идет у Него через Нее, у Нее через Него, не иначе.

#### 4

Вместе с дощатыми мостками мы висели над тем местом, где много лет назад кончила свою недолгую жизнь курдюковская царевна Настя. Кончила жизнь и начала сказку, перешедшую из прошлого столетия в наше.

А берега Настиного омота распирает от картовых, плотски нутряных звуков. Лягушки сбесились. У них уже не один пророк тенор с подпевалями, объявилась, по крайней мере, дюжина пророков-вещателей. Баритоны, басы, суетливые дисканты исступленно схлестнулись друг с другом, и каждого поддерживает хор подпевал. Пророки уже не убеждают, не внушают, а безумствуют. Бурлит и бродит вокруг нас океан неутоленных желаний. И сказка о погибшей Насте — тускла и ничтожна. Что там любая смерть, когда столь мощна страсть к продолжению жизни на земле.

Только одна Луна сверху бесстрашна и холодна. Она — иной мир, чуждый нашему. Но ее мертвый свет, попав к нам, коснувшись воды, судорожится и страдает. На нашей живой планете все должно жить и бесноваться.

У Майи размытое настороженное лицо, волосы заполнены ночью. Майя замерла — удивлена и подавлена.

Я поднял руку к глазам, уловил стрелки на часах.

— А ведь уже началось!

Майя покосилась на Луну — чеканна и величава, ни намека на затемнение.

— Мы запаздываем.

— Кто мы? — удивился я.

— Мы — женщины. И Луна в том числе.

— Представляю, как свихнутся все астрономы мира, да и физики тоже, если она запоздает хоть на минуту.

— Ничего с ними не случится. Подождут.

И я засмеялся.

Майя всегда опаздывала на свидания. Однажды, мне думается, она установила мировой рекорд, опоздав... на шесть часов!

В рабочем поселке Комплексное, километрах в сорока от города, жила Майина подруга. Майя ездила к ней не часто, но по вдохновению, охватывавшему ее внезапно, без всяких видимых причин.

— Ленку давно не видела.

И исчезала на день, иногда на два.

В тот раз была, пожалуй, некоторая побудительная причина — близкий знакомый Леночки из Комплексного, некто Боря Цветик, предложил свозить Майю туда и обратно. Почему бы и не воспользоваться.

Боря Цветик недавно приобрел «Москвич» пожарного цвета. И оба они, как Боря, так и «пожарный» «Москвич», стали источником изустного творчества в кругу Майиных приятелей. «Москвич», например, имел привычку, раз остановившись, уже не двигаться дальше, поэтому сам Боря Цветик не терпел остановок. Был случай, когда он даже предложил своим пассажирам: «Я приторможу, а вы выскакивайте на ходу».

Майя пообещала вернуться утром, назначила свидание на двенадцать часов возле кинотеатра «Радуга».

Стояли февральские морозы. Я протоптался на углу кинотеатра целый час, решил позвонить домой Майе. Мне никто не ответил. Я еще потоптался с полчаса, сно-

ва позвонил, снова не ответили. И в голову лезли картинки — перевернутый вверх колесами «пожарный» «Москвич», машины ГАИ, машины «скорой помощи», носилки... Топтаться на месте я уже не мог, домой идти тоже, я двинулся по городу от одной автоматной будки к другой, меняя на пути мелочь на двухкопеечные монеты. Мне отвечали унылые продолжительные гудки. Отец Майи был в командировке, мать, как потом я узнал, чтобы не скучать одной, уехала на весь день в гости к сестре. И слава богу, иначе я свел бы ее с ума.

Боря Цветик и «пожарный» «Москвич»... Я несколько раз оказывался перед Майиным домом и бежал от него, вливался в поток прохожих, терпеливо и отупело выстаивал в очередях к автоматам. Люди, люди — мимо меня, люди, несущие на лицах озабоченность, свою, ненужную мне, чужую мне. Тесно в городе от людей и — пустыня кругом. Нет страшнее одиночества, чем одиночество среди многолюдья. От автомата к автомату... Каждый раз я с надеждой брался за трубку — надежды рушились.

Боря Цветик со своим «пожарным» «Москвичом»...

Всплыло стихотворение, давным-давно случайно занесенное в память и забытое. Не знаю даже, кто его написал и в какие годы. Какой-то русский эмигрант.

В Константинополе у турка  
Валялся пыльный и загаженный  
План города Санкт-Петербурга —  
В квадратном дюйме триста сажен.  
И дрогнули воспоминанья,  
И замер шаг, и взор мой влажен:  
В моей тоске, как и на плане,—  
В квадратном дюйме триста сажен.

Боря Цветик... Надо пойти в милицию, спросить: была ли авария на шоссе между городом и поселком Комплексное?.. Нет! Нет! Быть не может! Я всю жизнь шел к ней, ошибался и путался среди других людей!..

В Константинополе у турка  
Валялся пыльный и загаженный  
План города Санкт-Петербурга...

Сутолочный день угасал. Я оказался в районе суконной фабрики. Старая фабрика, старый район, который когда-то, во времена владычного купца Курдюкова, был в стороне от города, теперь город с ним слился.

В моей тоске, как и на плане,—  
В квадратном дюйме триста сажен.

В тесном подъезде, пахнущем квашеной капустой, я очередной раз снял трубку, набрал номер...

— Алло! — беспечный альт, музыкальный звук, освежающе чистый — из иного мира, не отравленного страхом, покойного и столь далекого сейчас от меня, как город Санкт-Петербург от русского эмигранта на туретчине. — Алло! Я вас слушаю!

— Майка!.. — хриплым выдохом.

— Кто это говорит?

— Я, Майка...

— Павлик! Что у тебя такой голос?

Я уже не мог ни радоваться, ни сердиться. Я шесть часов кружил по городу, я промерз до костей, я с утра не ел — сейчас чувствовал, что с трудом держусь на ногах.

— Ты где, Павлик?

— На сукошной фабрике.

— Как тебя занесло туда?

— Майка... что случилось?

— Ничего. У Ленки пришлось задержаться.

Цветик со своим «пожарным» «Москвичом» был вовсе не виноват. Я слушал далекий ясный Майкин голос и все никак не мог прийти в себя.

В Константинополе у турка  
Валялся пыльный...

Тьфу! Привязалось...

Нет, Луна не запаздывала.

— Гляди! — сказал я.

Секундное молчание.

— Ничего не вижу.

— Гляди внимательней!

— Луна как Луна.

— Она не круглая.

— А-а...

Едва заметно на глаз Луна сплоснулась.

Для нетерпеливого рода людского природа слишком медлительна. Что может быть стремительнее взрывов, но звезды в галактиках взрываются многими месяцами, даже годами. И сейчас Луна с тягостной медлительностью вползала в земную тень.

Майя, навалившись на шаткие перильца, остановившимися глазами смотрела на продавливающуюся Луну. На Майю часто находили минуты заторможенности —

цепенеет, смотрит в одну точку, если спросишь, отвечает невпопад, живет в себе. И в такие моменты трагический излом ее губ становится резче, глаза расширяются и гаснут, лицо под тяжелыми волосами, ее тонкое прекрасное лицо утрачивает совершенство, становится чуть-чуть асимметричным. И кажется, от него исходит немотное страдание — за весь мир, за всю вселенную, не меньше.

В первое время нашего знакомства меня эти минуты пугали и подавляли — не смел вздохнуть, заражался вселенской скорбью, благоговел. Но каждый раз Майя обрывала их каким-нибудь простеньким, обидно житейским вопросом:

— Не слышал по радио, будет завтра дождь или нет?

Выходит, всего-навсего она думала о завтрашнем дожде. И все равно я продолжал удивляться ей, сострадать с нею, против воли каждый раз верил, что в ней теснится нешуточное — уж никак не мысли о завтрашнем дожде.

Сейчас вот она заворуженно уставилась на Луну, лицо ее купается в свете, в ее остановившихся глазах вздрагивающие блики, и волосы, откиннутые назад, открывают гладкий, бледно сияющий лоб и резкие густые брови на нем.

Кипели вокруг лягушачьи голоса. В небе совершалось таинство.

Она смахнула ресницами заворуженность, пошевелилась.

— Павел... — голос тих. — Говорят, колено мухи и колено человека похоже устроены.

Поди ж ты угадай, что она вдруг выдаст. Я не отвечал, просто глядел на нее, слушал звук ее голоса и, как всегда, не мог ни наглядеться досыта, ни послушаться.

— Господь бог не изобретателен, Павел. У него не так уж много за душой идей.

— Тебя это огорчает, Майя?

— Радует.

— Почему?

— Потому что он часто должен повторяться.

— Так какая же тебе от этого радость?

Она помолчала и заговорила:

— Вот я стояла, и мне казалось: где-то я уже вот так над рекой... И тоже глядела на Луну, и ждала от Луны чего-то... Где-то в другой жизни, Павел... И ты был рядом.

— Действительно. Он не только повторил тебя и меня, он еще раз свел нас вместе. Спасибо ему.



— Не смейся, я серьезно. Он повторил идею, Павел, старую большую идею, которых у него не так уж много. Если даже простенькую идею колена повторяет и в мухе, и в человеке...

— Пусть так, я еще и еще раз согласен повториться... Вместе с тобой, Майка, только вместе с тобой!

Она могла меня сейчас заставить верить в любое — в невероятную повторяемость жизни, наших судеб и наших встреч, в существование запредельного, в эфемерность смерти и даже в наличие самого господа бога, скудно снабженного идеями.

И сипели, стонали, горланили лягушки, возглашая торжество жизни над смертью. И внизу под нами стыл Настин омут. И мельтешилась на воде пролитая Луна. А на небе с Луной происходило чудо — она медленно, медленно опрокидывалась. Какая-то сила упрямо валила на спину выщербленный месяц.

## 5

Из нашей деревенской школы я перешел в десятилетку, жил в интернате, по субботам бегал домой из райцентра. Вместе с Капкой Поняевой из соседней деревни Кряковка.

Я знал ее с первого класса — тощая вертлявая девочка, жила в крайней избе, часто выскакивала мне навстречу.

— Здрас-тя! А у нас кошка котяточек народила. Слип-пы-и!

В девятом классе она как-то внезапно выросла и похорошела — бедра обрели крутизну, вместо льняных нечесаных патл, коса по крепкой спине, тугие скулы, зеленые ищущие глаза.

Дважды в неделю мы дружным шагом, плечо в плечо отмахивали по пятнадцати километров — из школы домой, из дому в школу. В сентябре на нашем пути полыхали рябины и березовое мелколосье тлело кроткой желтизной. В мае все кругом было яростно зелено, обмыто и соловьи передавали нас один другому, выламываясь в немых колесцах. Со временем мы все чаще и чаще стали прерывать свой слаженный бег, садились отдыхать — как и шли, плечо в плечо. И я чувствовал ее плечо, упругое, теснящее. А однажды она привалилась ко мне, жаркая, расслабленная, я долго сидел, боялся дышать. Наконец она прошептала с дрожью:

— Обними же, глупый... Покрепче.

Я неумело обнял обжигающее, загадочное, до потери сознания страшное девичье тело.

В августе того же года я уезжал поступать в институт. Я срубил молодую елочку и принес Капе, она украсила ее пестрыми лоскутками, белыми, голубыми, красными. Среди бела дня, на глазах всей деревни Кряковки я залез на Капкину крышу и прибил разнаряженную елочку к коньку. Как отец матери — зажданную. Клятва — добыюсь своего и вернусь, жди!

Капка Поняева не прождала и года, выскочила замуж за лейтенанта, проводившего отпуск в Кряковке, уехала с ним куда-то под Читу.

А я жил в городе, который тоже был далек от моих родных мест. И моей постоянной дорогой стал старый Глуховский бульвар, соединявший наш институт с городской публичной библиотекой. Поздними вечерами я возвращался из библиотеки, ветерок блуждал в тесной листве, фонари бросали под ноги узорную тень, на скамейках, подалее от фонарей, целовались парочки, и где-то в середине бульвара заливался соловей. Его песня издалека встречала меня, а потом долго провожала. Только один соловей и жил в центре города. Один, но упрямый, неизменно провозглашавший о себе каждую весну. Я не знаю, как долго соловьиный век, но и теперь, как много лет назад, соловьиная песня звучит на том же месте. Должно быть, внук или правнук того, кто смущал меня в студенческие годы. А две последние весны я слушал его уже вместе с Майей.

Пел соловей, напоминал мне тех, что выламывались в замысловатых коленцах для нас с Капой. «Обними же, глупый...»

Я ее не осуждал: дедовские обычаи обветшали, ждать шесть лет, когда я кончу учиться, — непосильный подвиг для девчонки, которая не представляет иного счастья, как основать семью, стать матерью. Да я и сам уж не столь был уверен — тот ли человек Капка, какой мне нужен, тоже ведь мог нарушить клятву.

Мне тогда было жаль прошлого, завидовал целующимся парочкам и чувствовал себя потерянно одиноким. Люди кругом, люди на каждом шагу, не замечающие меня. Я среди них словно человек-невидимка! А как это тяжело — невидимка! Нечто бесплотное среди нормально живых.

Нет, я не чувствовал тогда себя ненужным. Напротив,

весьма самоуверенно считал — призван совершить великое открытие, человечество ждет от меня подвига. Были наставники, которых уважал, были товарищи, в преданности которых не сомневался, но не было такого, кому мог бы сказать: люблю! Среди людей не существовало ближайшего.

И тут-то родилась вера — встречу! Я не мог бы описать, какая Она, как выглядит, но был твердо убежден — сразу узнаю Ее. Я ждал встречи и жадно приглядывался, часто видел красивых, но ни одна не походила на Ту...

Шли годы, а все не находил Ее — не встречалась. Я начал тихо отчаиваться — гонюсь за каким-то миражем, сочинил себе миф.

И было библиотечное знакомство — некая Леночка Совкина, остроносая, светлая, легко заливающаяся смущенным румянцем. Однако ее смущение не мешало нам целоваться в темных уголках Глуховского бульвара.

Потом возле меня появилась Шура Горелик, студентка с почвоведческого факультета, плотно сбитая, с бровями, сросшимися у переносицы, с чистыми, честными, широко расставленными глазами, человек твердых взглядов и целеустремленного характера. Она не позволяла мне целовать ее на бульваре, а наши встречи со свойственной ей прямоотой и серьезностью воспринимала как первый шаг к женитьбе. Право, я даже временами подумывал: это не так уж и плохо для меня. Шура — надежная опора, в минуты отчаяния ободрит, в минуты увлечения охладит, с такой не пропадешь...

Но тут наконец произошло то, чего я так долго ждал. Я встретил Ту...

В автобусной толкучке стояла женщина, я нечаянно наткнулся на нее взглядом и содрогнулся — широкие брови, дремотный взгляд из-под приспущенных ресниц, четкий рисунок губ и тяжелый пучок волос на затылке. Она была меня явно старше, уже зрелая женщина, не девчонка, но все равно Та! И чем больше украдкой я приглядывался к ней, тем сильнее убеждался — Она, никаких сомнений. Меня бросило в испарину и охватило отчаяние.

Сейчас Она двинется к выходу, кинет на меня скользкий, равнодушный взгляд из-под пушистых ресниц... исчезнет. Она, о которой я впервые задумался в далеком детстве, там, на грязном проселке посреди весеннего неопрытанного поля, мальчишкой в солдатских ботинках, на изношенных отцом, Она, которую в последние годы я ждал каждый день. Казалось, стоит только встретить, и

произойдет счастье — великое и единственное в моей жизни. Я узнаю Ее, Она меня, и тут уж ничто не сможет нам помешать, никакие силы.

Я-то узнал, но Она меня узнавать не собиралась, терпеливо сносила автобусную тесноту, рассеянно глядела мимо, мимо такими знакомыми, вымечтанными глазами. И с каждой минутой, с каждой секундой, с каждым поворотом автобусного колеса приближается остановка, на которой Она сойдет. И исчезнет. И будешь ты знать — Она не миф, не мираж, созданный твоим воображением. Будешь жить и казнить, чувствовать себя вечным несчастливцем. Жить просто так, никого не любя, жить с равнодушием, по привычке, по инерции, лететь в невнятное нечто, словно пуля, миновавшая цель. Я чувствовал: в эти минуты совершается промах, обесмысливающий все мое существование.

Она двинулась к выходу, я посторонился. Она скользнула по моему лицу невидящим, далеким, направленным внутрь себя взглядом из-под пушистых ресниц.

Она сошла на Театральной площади, я выскочил следом. Среднего роста, чуточку плотная, модная дубленка обтягивает покатые плечи и крепкую тонкую талию, походка неторопливая, с горделивым достоинством, несколько тяжеловатая и медлительная. Родственно знакома!

Родственна!.. Как разъединены люди друг с другом! Какие непроходимые овраги лежат между нами. Попробуй проредись через заросли суетных понятий приличия, возведенных в законы условностей, сквозь врожденное недоверие — встречный не может быть другом, будь с ним начеку, не доверяй. Нет простой и легкой дороги от человека к человеку. Каждый из нас — крепость с поднятыми мостами.

Я шел за спиной незнакомки в десяти шагах и судорожно решал, как подступить. Надо сказать все, выплеснуть из души: «Вы та самая, какую я искал всю свою сознательную жизнь. Та единственная, неповторимая, одна из тех многих и многих тысяч, которые когда-либо встречались мне в жизни. Второй такой нет и быть не может! Встретить единственную можно лишь раз в жизни, другого случая не представится. Не смейте его пропустить! Остановитесь, не проходите мимо того счастливого чуда, которое подарено мне и Вам!..» Выплеснуть из души, а она... она примет меня за сумасшедшего.

И еще меня дико смущало житейски суетное — на ее плечах дорогая, модная дубленка, она, должно быть, из-

балована достатком, а я студент, я предстану перед ней в потасканном осеннем пальтишке. У завоевателя слишком жалкий вид, чтоб рассчитывать на победу.

Пока я панически колебался, к незнакомке подошли. Это был монументальный мужчина, вложенный в монументальное пальто, с крупным выглаженным лицом, на котором с самого рождения отпечатано выражение самоуверенности. Он небрежно тронул перчаткой шляпу и взял незнакомку под локоть. И увел ее от меня. Навсегда.

Странно, она совсем не походила на Майю. Ничего общего.

Теперь мне чуть-чуть стыдно своего мальчишества, давно уже не жалею, что встречи не получилось, больше того, считаю удачей — прошла мимо, оставила меня убитым, опустошенным, но свободным. И все-таки вспоминаю ее благодарно. Да будет счастлива она в жизни! Мне почему-то радостно, что такая женщина живет на свете. Да, да, радостно без всякой корысти. И безболезненно.

Я уже кончил аспирантуру, когда в институте появилась Зульфия Козлова. Ее экзотическое имя и посконная фамилия совмещались не случайно — кровь потомков Тамерлана была перемешана в ней с мужицкой кровью тверичей. Две темные косы, большие бархатистые глаза, смуглое, со стремительным профилем лицо, не вязавшееся с ленивой заторможенностью движений. От ее полнющей, мягкой фигуры веяло покоем. Однако этот покой обманчив. Зульфия была хронически больна неустроенностью. Она блестяще кончила один из столичных институтов, сумела быстро защитить кандидатскую, и тут началась ее невеселая одиссея — из одного учебного заведения в другое, всюду, по ее выражению, она натыкалась на «замшелые авторитеты». Мимоходом она успела трижды побывать замужем и трижды развестись. Душевная неустроенность пригнала ее к нам, думается, она заставит кочевать ее до старости, искать и не находить, вечно бегать от самой себя.

Началось у нас с ее поучений. Поджав под себя ногу, выставив крепкое колено, она, обволакивая меня бархатистым взглядом, лениво рассуждала:

— Человек создан для счастья, как птица для полета. Нет ничего пошлей этой птичьей фразы. Мы разумны, значит, способны видеть впереди опасности, а значит, не можем бесечно наслаждаться настоящим. Человек, мой

милый, самой природой обречен жить в вечной тревоге, не создан для счастья. Нет...

Я оказался для нее единственно близким, мне без нее тоже было пустынно и неуютно. Пожалуй, она даже победила Ту, вымечтанную. Я все больше и больше заражался ее ленивым примиренчеством перед неизбежным. Все чаще и чаще стал задумываться: не гонялся ли я за призраками? Незнакомка — не призрак. Да, она просто красивая женщина, наверно, редкостно красивая, если так смутила тебя. Но оглянись на себя — редкостных ли ты сам качеств? Почему тебе, заурядному, судьба должна подарить из ряда вон, исключительное? Не блажи, принимай то хорошее, что есть, умей радоваться.

Я забывал, что Зульфия только проповедовала смиренность — ленивым голосом, бархатно-кротким взглядом, — а сама жила не смиренно, не могла принять, что ей предлагала судьба, предпочитала неприкаянность.

Я навряд ли бы смог сделать Зульфию счастливой. Скорей всего появилась бы другая, не схожая с Той, не мифическая — нормальная.

А невероятное было уже близко.

## 6

Заваливался на спину месяц. Лягушки кричали влажно-картавыми голосами — скрип, бульканье, надсадное кряканье, изнемогающие стоны. Воздух рыдающе звенит. Лягушки?.. Да они ли кричат? Не сама ли наша планета этой глухой странной ночью заговорила вдруг с прорвавшейся страстью? Гибнет в небе светило, Земля не может оставаться равнодушной. Она должна страдать и негодовать.

Моя рука лежит на прохладной руке Майи, греет ее. Рука на руке — жест доверчивости, жест достигнутой близости.

С рюкзаком за спиной и бумагой в кармане, в которой говорилось, что районные и колхозные руководители должны оказывать мне, научному сотруднику Института почвоведения и агрохимии, помощь, я время от времени бродил по полям области.

Современное земледелие, пользующееся химическими удобрениями и химической защитой от вредителей, дав-

по уже вызывало тревогу у моего научного руководителя. У меня тоже. И мы оба хотели, чтобы этой тревогой прониклись все, в том числе и руководство областью.

В тот раз пришлось выехать осенью, чтобы взять пробы воды в известном по области Чермуховском озере и втекающих в него многочисленных речках. Эти пробы должны были показать, насколько повысилось химическое загрязнение вод за один только сезон — прошедшие весну и лето.

В селе Ступнино обычно я брал для себя помощника, двенадцатилетнего смышленного парнишку Петю Бочкова, но тот уехал к старшему брату, и бригадир привел мне сразу троих девиц. Трех студенток областного пединститута, посланных сюда «на картошку».

И вот пасмурным вечером в селе Ступнино возле затопленного крыльца бригадного дома я впервые увидел Майю. Ее горький изгиб губ, ее всполошенно темные, с невнятной мольбой глаза, толстый платок на голове скрывал ее волосы...

Та, исчезнувшая незнакомка, самой природой создана, должно быть, госпожой — женщиной, сознающая свою власть. Я сразу, при первом же взгляде на нее почувствовал себя рабом, безвольным и обезличенным. Сейчас передо мной стояла девочка с горестными губами, молящими, заранее благодарными глазами — воплощение слабости и доверчивости. Не мог же я знать тогда, что всего этого нет — обман природы, но беспроегрышный, покоряющий. У меня сразу же защемило в груди от самозабвенного желанья помочь, защитить, совершить что-то сверхдоброе, жертвенное, что-то столь необычное, чтоб исчезла с губ горькая складка. И сразу же я почувствовал себя сильным, дерзким, способным на подвиг.

Исчезнувшая незнакомка! Да будет жизнь твоя радостна! Хорошо, что такие, как ты, живут на свете. Но как ты, госпожа, повелевающая богиня, потускнела перед Майей — груба, тяжеловесна, плотски бесхитростна. Твоя власть безобидна и бессильна по сравнению с тем, что дано Майе: видимостью беззащитности вызывать отвагу, доверчивостью — самозабвение, обманчивой горестностью — иступленную жажду добра.

С Майей были еще две девушки, Галя и Оля, одна полная, добродушная, курносая, другая — худенькая брюнеточка, остроглазая и бойкая на язычок.

Мы вчетвером три дня лазили по берегам Чермухов-

ского озера, навещали устья ручьев и маленьких речек, на ночь возвращались в Ступнино.

Была обычная осенняя погода с тусклым низким небом, временами сеявшим мелким дождем. И озеро лежало свинцовое, не улыбочливое. И каждый куст встречал нас недружелюбно — обдавал холодной водой. Но я находился в красочном, поразительном мире, где воздух, емкий и насыщенный, можно было видеть, где мокрая земля с облетающей порослью казалась просторнее и обширнее обычной, и я по ней бродил в возвышенно-тревожном настроении. Бродил и всему удивлялся: тому, что застенчивый ствол осины травянисто зелен, что тесовые крыши изб стального звонкого цвета, что тоскливое небо над нами вовсе не тоскливо — не плоско, а глубинно, созвучно с дымчатыми лесами, и переполненное свинцовой водой озеро поражало меня своей мощью. На каждом шагу опарашивающие открытия. Я словно снова впал в детство, стал тем парнишкой, который донашивал не доношенные отцом солдатские башмаки, застывая в изумлении перед сквозным березняком и полем в неопрятной стерне.

И какие счастливые минуты наступали, когда разгорался костер, а я устилал мокрую траву лапником, усаживал своих гостей.

И разогретая на костре, пахнувшая дымом тушенка с черным хлебом была так вкусна, что судорогой сводило челюсти.

И как не хотелось нам, насквозь вымокшим, падавшим с ног от усталости, возвращаясь в село, расставаться друг с другом.

А однажды мы не нашли ни лавы, ни поваленного дерева, чтобы перебраться через очередной ручей, и я перенес по очереди всех троих на тот берег на руках. И Майю тоже. Она обняла меня за шею, я слышал на своей щеке ее дыхание. А когда я опустил ее на землю, она, сияя глазами, тронув в смущенной улыбочке изломанные губы, сказала:

— Как-кой вы сильный!

Да, я был сильным, я был добрым. И мне все нравилось. Нравились девочки, все трое, и неуклюжая Галя, и бойкая, легкая на ногу Оля. Я им тоже нравился, насколько не сомневаюсь.

Каждый человек — крепость с поднятыми мостами. Ерунда! Мосты так легко падают — входи! Таким хорошим, таким легким и свободным человеком я еще ни разу не чувствовал себя в жизни. И не моя в том вина.



Нет, я не смог добиться, чтобы с Майиных губ исчез горький излом. Я уже тогда понял — это врожденное. Никогда не добьюсь, но буду вечно желать этого. Вечно, если даже ее и не будет рядом.

На третьи сутки вечером я устроил маленький прощальный праздник — бутылка красного вина для девочек, бутылка водки для себя и для хозяйина дома, где я жил. Однако девочки пили вместе с нами водку и веселились. Толстая Галя всплакнула. Майя предложила выпить за встречу в городе. Все трое тут же мне дали свои адреса и телефоны, я — свой всем троим.

На следующее утро они меня провожали. И снова толстая Галя всплакнула, а у Майи страдальчески тлели глаза, изгиб ее губ, уже до боли родной, — немой крик.

А в городе, издалека все стало для меня выглядеть поиному. Я начал люто казнить себя. Эти девочки несколько месяцев тому назад сидели еще на школьной парте. А я готовился к защите кандидатской, преподавал таким вот желторотым студенткам, и женщина бальзаковского возраста — если уж выражаться и дальше по-книжному — дарит меня своей любовью, значит, признает равным себе. Я почти что другое поколение... Реакция пострадавшего от жары и замешкавшегося на берегу в испуге перед холодной водой.

Майя первая позвонила мне в институт. Раньше Оли и раньше Гали. Я еще не понял тогда, что она вовсе не беззащитна и робка, а решительный человек, куда решительней своих подруг. И меня тоже.

Мы стали часто встречаться.

И только спустя полтора года я осмелился положить свою руку на руку ее. Это случилось самым тривиальным образом — в кинотеатре «Радуга».

Сейчас моя рука греет ее прохладную руку. Лягушачьи голоса рощет планета. В небе под незримым натиском медленно, медленно падает на горбатую спину месяц.

7

Наконец он совсем лег на горб, беспомощно, рогами вверх. В таком положении еще никогда не приходилось видеть Луну, даже на картинках.

— Вот оно... — сказал я. — Затмение.

Пришла та самая, обещанная календарями «наибольшая фаза», когда 83 процента всей Луны закрыто набе-

жавшей тенью. Календари лишь забыли предупредить, как выглядит эта фаза — рогами вверх!

Майя вздрогнула и сжала мою руку — изломаны брови и губы, глаза круглы, в них страх.

— Гляди... — срывающимся шепотом. — Он улыбается!

— Кто?

— Не знаю... Он!

И тут только я увидел — над знакомым миром, над стынувшей смолистой заводью, поигрывающей уже жалким расплавленным золотым клочком, над висящей лохматой, беспросветно черной громадой заросшего берега, где деревья растут и вверх к небесам и внутрь, в глубь земли растрепанными вершинами, над нашим мостиком, парящим над бездоньем, висела... улыбка! Просто улыбка сама по себе, без лица, без хозяина.

Казалось, даже лягушки чуть попритихли, влажные, булькающие и картавые голоса — клочьями, островками.

— Как клоун, — выдавила из себя Майя.

Улыбка на небе, улыбка мироздания или кого-то в нем, вездесущего и невидимого. Его самого нет, он послал только свою улыбку, неподвижную, плоскую, вовсе не веселящую.

— Как клоун... Только Он очень, очень устал, Павел.

— Он... Может, на колени нам опуститься, Майка?

— Нет, ты приглядиись!

Приглядываться нужды не было: плоский, словно крапленный, клоунский рот на небе, в нем и впрямь чувствовалась усталая горечь и еще, пожалуй... холодная, жуткая жалость ко всему, что внизу. К нам, стоящим на скрипучих мостках, к кричащим лягушкам... Для этой всевышней улыбки как мы с Майей, так и лягушки одинаково мелки и ничтожны.

Майя жадно озиралась.

— Павел! — ее сдавленный голос зазвенел. — Все ненастоящее, Павел. Все, все кругом! И омут, и берега, и лес на нем! Временное, случайное!..

— И ты ненастоящая? Это уже мне обидно, — я хотел свести на шутку.

— И я, и ты! Мы, наверное, и есть самое ненастоящее. Наш миг короче всех, Павел! Он это знает. Он улыбается!

— Ну не короче же лягушачьего, Майя.

— Утешаешься? Чем? Что наш век длинней лягушачьего! — Майя тянулась вверх, к небесной застывшей улыбке, лицо бледно, кричащие брови, сведенный рот, она даже перестала быть красивой. — Во-он!.. — Она вскинула тон-

кую руку. — Вон там плывет бесконечное время, несет галактики. И в этом бесконечном крохотный просвет, волосяной, микроскопический — это моя жизнь! Я появилась на свет, чтоб увидеть, как проблеснет надо мной мир. И снова в небытие, и снова пустота — и уже навсегда. Я пытаюсь, пытаюсь обманывать себя, выдумываю, что когда-то повторюсь, что Он не изобретателен — колено мухи и колено человека... А он смеется, Павел. Он-то знает, что у меня впереди только одно ничто. Вынырнула из этого ничто, в нем и утону. И еще радуюсь, что живу, цепляюсь за свой волосяной век, недоумеваю, как можно с ним расстаться. Вот эта Настя... лет сто тому назад здесь... А если бы она тогда не бросилась в этот омут, что бы изменилось? Да ничего, все равно бы исчезла, как исчезли все, все без исключения, что вместе с ней жили. Не бывало еще такого удачника, который бы обманул время... И как Ему — Ему! — не жалеть нас. Не смерти боюсь, нет! Нелепости! Зачем я, к чему я? Кому нужно мое мелькание на свете? Брошусь вот сейчас в воду или не брошусь — да велика ли разница, чуть-чуть топыше станет волосок просвета...

— Майка! — Я схватил ее за руку, рывком повернул ее к себе — искаженное лицо с налитыми страхом глазами. — Ты чем меряешь время, Майка? Секундами, минутами, веками! А они одинаковы, эти секунды и века? Улыбается, жалеет... Это Луна-то нас жалеет? Очнись, Майка! Сколько там Луна существует — четыре, пять миллиардов лет. Не волосяной просвет — вообразить нельзя. Только что там за эту невообразимость произошло? Да ничего — чуть больше оспин стало на ее роже. Проходят миллионы лет за миллионами, а ничего не случается, ничего не меняется. А вот двадцать два года назад — только двадцать два! — тебя не было совсем. Ты появилась, выросла, в тебе каждую секунду что-то меняется, отмирают одни клетки, рождаются другие, и мысли возникают, и эвоц... страсти кипят. Твоя секунда, Майка, куда вместительней десяти лунных тысячелетий. Волосяной век? Да ты сейчас добрых три минуты завывала на Луну — свои три минуты, сто восемьдесят секунд! Тысячу восьмисот лунных тысячелетий! Так кто из вас больше прожил — ты или Луна?..

Майя слушала — русалочьи голубой лик, обжигающие глаза. И кричали лягушки, и висела над миром приклеенная без лица улыбка.

— Вместительные секунды... — тихо произнесла Майя,

неспокойно вглядываясь в омут с опрокинутыми деревьями. — И у Насти тоже?.. Да нет, должно, так пусты были, что в воду бросились.

— А может, наоборот? — возразил я. — Чувствовала, что непрожитое время могло бы стать слишком заполненным...

— Тогда зачем же она его в омут? — удивилась Майя.

— А оно уже ей не принадлежало — купец купил за дешево. Чужое, не свое выбрасывала.

Майя с сомнением покачала головой.

— Она все равно бы кому-то подарила непрожитое время — другому человеку, детям, может, и вовсе незнакомым людям, работая на них. Значит, так и так не свое, чужое.

— Важно же не просто отдать, важно — кому и за что. Купчина, должно, не стоил Настиного.

— Кому и за что... Ты знаешь?

— В общем-то, знаю.

— А я... двадцать один год мельтешу на свете и все еще не знаю, кому нужна, на что пригодна. Одни какие-то желания, в которых и сама не разберусь.

— Ты мне нужна, Майка!

Она с горечью усмехнулась.

— Нужна... Если б тебе такое сказали, радовался бы?.. Нет, каждому хочется не одного осчастливить, а хоть какой-нибудь перпетуум-мобиле подарить людям.

— Ты и подаришь, Майка.

— Как?

— Изменив меня... Ты разве не замечала, что рядом с тобой люди меняются.

— Замечала — гарцевать вокруг начинают.

— Уж не считаешь ли, что и я гарцую?

— Ты исключение, Павел. Как раз в тебе-то я никаких перемен и не заметила.

— Я, Майка, рядом с тобой начинаю видеть сквозь степи. Рядом с тобой я уже сам страшусь своей силы, готов опрокинуть горы, сорвать Луну с неба, открыть живую воду... И перпетуум-мобиле тоже изобрести могу!

— Вот если бы меня заразил этим.

— Да как можно заразить того, от кого идет благородная зараза? Ты катализатор, Майка. Катализатор в реакциях не участвует, он их ускоряет. И не думай, что такие люди — второй сорт. Совсем наоборот! «Природа-мать! когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни!» Может, нива жизни совсем бы и не

заглохла, но то, что без людей-катализаторов мы до сих пор скребли бы свои поля сохой, передвигались бы на волах с колесным скрипом,— это уж точно.

Майя молчала, смотрела вниз, но ее голубые до прозрачности веки, таящие влажный мрак глаз, подрагивали.

— Май-ка! Если рядом тебя не будет, я увяну, усохну, стану тупым, слабым, безвольным. Меня жуть берет, Майка, если подумаю, что ты не меня, а кого-то другого — сильным и счастливым... Не я, а кто-то другой рядом с тобой — перпетуум-мобиле... Майка! Я мечтал, но не очень-то верил, что такое чудо со мной случится. Случилось. И уж без чуда я теперь жить не могу! Ты слышишь, Майка, что такое ты для меня?

Майя пошевелилась, смятенно оглянулась направо, налево, словно стараясь запомнить все, что нас окружало, решительно выдохнула:

— Пошли.

И первая двинулась с мостков на берег. Я двинулся за ней, словно на привязи.

На берегу она задержалась, повернула лицо к Луне. Окруженное впитавшими ночной мрак волосами, нежно светящееся узкое лицо с тревожной складкой рта и мерцающими глазами выражало затаенную решимость.

По-прежнему над землей, над рекой, обмершей и бурлящей лягушачьими голосами, висела вселенская улыбка, заливала всепроникающей — до дна души, под корни трав — печалью.

## 8

Я родился от приговоренного к смерти отца, носившего в легком осколок снаряда. Я родился на свет спустя неделю после того, как в Европе умолкли пушки. Мне было всего несколько месяцев, когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба. В нашей избе стоял тошнотно-сладковатый запах лепешек из травы. Они походили на навозные коровьи лепехи, их ела мать, для меня она правдами и неправдами сберегала чистый хлебушко. А Васька Ключкин, парнишка-сосед, на год младше меня, умер с голоду на исходе зимы.

В двенадцать лет я услышал: запущен первый искусственный спутник. В четырнадцать — ракета впервые достигла Луны. В шестнадцать — Юрий Гагарин, первый из людей, побывал в космосе. К этому времени я уже глотал научно-фантастические повести и научно-популярные кни-

ги, знал, что такое «парадокс близнецов», слышал и сам произносил имя Эйнштейна.

Война и голод, космические головокружительные полеты и гуляющий по миру страх перед атомными и водородными бомбами, возможное и невозможное, перепутанное в сознании. Даже мужики на завалинке, чадя махоркой, рассуждали о гибельной сущности стронция:

— Бабы и те от него лысеют, и кровь — как моча.

Я не был самым лучшим в школе учеником, но твердо знал, что поступлю в институт, стану ученым. Я мальчишески самонадеянно верил — сделаю в жизни что-то большое, столь нужное людям, что мне будут ставить памятники после смерти, а деревня Полянка станет известна миру: здесь родился великий человек!

С годами мир вокруг меня сильно разросся, а я изрядно измельчал в своих глазах — великий, где уж! — но честолюбивое желание сделать нечто всеобщее полезное, пусть уж не такое большое, продолжало во мне жить.

Мир разросся для меня — и раскрылся. Я начал видеть в нем не только те опасности, о которых озабоченно говорили даже мужики на завалинке. Заводская труба, выплескивающая промышленные отходы, не менее страшна, чем ракеты с термоядерными боеголовками. Уже теперь раздаются голоса: «Наш воздух загрязнен, наши реки отравлены, наши земли истощены!» Зеленые луга, речные излучины, леса в голубой дымке — красив светлый мир вокруг! Его закоптят, задушат, запакосят... Кто в наш век не отравлен страхом за грядущее?..

Отравлен и я. Был! И совсем недавно.

Но вот Майя... Я люблю! А можно ли любить и не испытывать надежды? Я люблю — я надеюсь, а значит, не в состоянии жить отравленным. Я люблю, чувствую в себе взрывные силы, могу видеть сквозь стены, могу изобресть невозможное — перпетуум-мобиле, не удавшееся другим! И спасение мира мне по плечу, потому что люблю, потому что хочу столь страстно, столь неистово жить, что всякая мысль о гибели кого бы то и чего бы то ни было для меня просто неприемлема!

Майи встречаются и другим, не один я люблю, не один я чувствую — способен на невозможное! — моя животворная мощь не исключительна, не редкость, а обычна для мира сего!

Пока на свете рождаются Майи, жизнь не перестанет цвести. Несущие в себе любовь, они-то и есть истинные спасители человечества!

Мы уходим от поверженной — рогами вверх — Луны.  
Майя замкнута, Майя молчит.

9

Нам везло в эту ночь — в самое глухое время суток на самой окраине города на нас выехало такси. Не надо тащиться пешком через весь город.

— На Конармейскую улицу, — сказал я шоферу, усаживаясь.

— Нет! — резко отозвалась Майя. — На Менделеева, двадцать три... Я теперь там живу.

На Менделеева, двадцать три жил я.

Сонный ночной шофер молча тронул с места машину.

Медленно и устало расстегивая плащ, она оглядывалась: железная койка, простой стол, книжная полка, пара стульев, на пустой стене одиноко небольшая репродукция — этюд Грабаря «Рябинка», кусочек пестрой, хохочущей осени.

Моя келья с выходом на балкон. Сама комната столь мала, что кажется несущественным приложением к коридорчику, прихожей, ванной и кухне. Я только год назад получил квартиру, пусть самую маленькую, какая может быть, но отдельную. Почти вся моя жизнь прошла по общежитиям — школьное общежитие при десятилетке в райцентре, студенческое общежитие на четыре койки, аспирантское... И вот четырнадцать квадратных метров, обнесенных стенами, покрытых крышею, со всеми положенными удобствами, за исключением телефона.

Майино лицо с яркими бровями не выражало ничего, кроме врожденной скорби, глаза с безразличием скользили по стенам мимо хохочущей рябинки, остановились на балконной двери, которая одновременно служила и окном.

— Задерни. Пусть даже Луна не заглядывает к нам.

Она уронила на пол плащ, ушла в ванную комнату. Со вскинутой головой, в узкой гибкой спине незнакомая мне натянутость, походка вздрагивающая, насильственная, каждый шаг — натужный толчок.

Она вышла, а я заметался: поднял плащ, кинул на стул, бросился к балконному окну, тут же сбил стул с

плащом, сел растерянно за стол, вскочил и застыл посреди комнаты.

Она здесь, она за стеной. И сейчас, сейчас вот появится. Уже не такой, какой я ее знаю, ипою!.. «Можешь считать, выхожу за тебя замуж». Эти слова она произнесла с сумрачной решительностью вниз, в подъезде, повесив трубку телефона-автомата, скупно предупредив родителей, что ночевать не придет.

Я ждал, я надеялся — да, произойдет, да, будет! Но когда-то, в благословенном и еще невнятном будущем. Будущее вдруг ринулось навстречу и... застало меня врасплох. Я знал женщин, давно уже не терялся перед ними, но Майя для меня не просто женщина — неприхотливые желанья и нескромные мысли несовместимы с ней, до сих пор гнал их от себя, стыдился их, боялся осквернить даже печальным помыслом. Сейчас, вот сейчас — иная Майя...

Я вспомнил, что окно так и осталось незадернутым. «Пусть даже Луна...» Я кинулся к окну, задержал. И обернулся.

Она стояла в комнате, утопая в моем купальном халате — тяжелые складки падают до самого пола. Лица нет, есть только глаза, бездонно темные, без блеска — прямо на меня! — истекающие ужасом. И не двинуть рукой, и ноги непосильно чужды, и пересохло горло — полный столбняк. Только сердце бешено стучится в ребра.

Она чуть повела плечом — жест неловкий, с беспомощным вызовом, — и тяжело свисавший халат рухнул вниз, вышлеснув из себя ее, узкую, белую, ослепительную, как всполох. И глаза, горящие черным ужасом, погасли под веками, и лицо медленно склонилось, и на выпуклый чистый лоб упала жесткая прядь волос. Глаза погасли, их сковывающая сила исчезла, я, освобождаясь от деревянности, сделал шаг к ней, робкий, виноватый, готовый оборвать движение, замереть при взмахе ее ресниц. Скованная, ожидающая, мучительно беззащитная, преодолевающая себя, решившаяся на первобытное откровение — вот она я, как есть, смотри! Острые, хрупкие, нервные плечи, потерянно уроненные тонкие руки, и упруго стекающие бедра, и недоуменные груди. Как есть — вся! Проста и чиста, доверяюсь. С колотящимся сердцем я сделал второй шаг, опустился на колени, уловил молочно-свежий запах ее кожи, лицом ощутил глубинное тепло ее тела. Она вздрогнула, когда я прикоснулся лицом, и снова замерла.

На меня с высоты глядели ее бездонные глаза...



Она уснула, и лицо ее было детски обиженным, пожалуи, капризным, но не трагичным. Вкрадчивые тени падали от опущенных ресниц, на нежной коже под тонкой ключицей была маленькая родинка, мне не знакомая. Да и вся она с растрепанными короткими густыми волосами, с кулачком, втиснутым под выпирающую скулу, с невнятной капризностью на губах нова для меня и пронизывающе родна, хоть плач от беспричинной к ней жалости.

За окном забуянили воробьи, их хлынувшие голоса можно было бы принять за обрушившийся звонкий ливень, если бы сквозь небрежно задернутую занавеску не протекал зовуще ясный розовый свет, какой может родиться лишь при безоблачном, победно широком рассвете.

Медленно и осторожно, затаив дыхание, не спуская глаз с ее ресниц, хранящих под собой дымчатую тень, я постепенно высвободил себя из-под одеяла, легко поднялся, чувствуя, как рвется из меня наружу энергия: что-то делать, двигаться, еще и еще раз перебрать, осмыслить свершившееся счастье, жить взахлеб.

Я поднял оброненный ею халат, натянул его на себя, открыл осторожно дверь на балкон, еще раз бросил взгляд на Майю — перепутанные волосы на подушке, кулачок под скулой, прочерк ресниц — вышел.

Солнце пока не взошло, пылало все небо, круто вздыбленное над городом, пылало без накала, насыщенным, освещающе прохладным сиянием. Всемирно необъятное, мощное и короткое пожарище, где нет пламени, нет лучей и нет теней, просто воздух обрел светимость, проникает в каждую пору, надышись им — и сам засветишься изнутри.

И под океаном света, на дне его — знакомый город, накрытый крышами. Знакомый, но преображенный — вымытый, снявший с себя житейскую копоть, настолько праздничный, что уже просто не представляется, как в нем теперь будут существовать обычные люди, те, кто суетно мельтешит на земле ради куска пожирней, кто способен корчиться от зависти, вынашивать ненависть, лгать другим и себе, напиваться до скотства, сквернословить бессмысленно; те люди, кого не тревожат ни собственная нечистоплотность, ни загрязненные реки, ни отравленный воздух, ни растущий шум, плодящий неврастеников. Вымытые крыши, они парадны, даже несколько крикливы сейчас, похожи на пеструю россыпь гальки, океан света

лежит на них. Праздничный город сейчас пуст, кажется, что он ждет новых жителей, не терпящих никакой грязи, чьи желания столь же лучезарны, как это кротко нылающее утро.

И я содрогнулся от простой мысли: наступающее сегодня совсем будет непохоже на все дни, оставшиеся позади. Там — зажито обычное, здесь — начало начал!

За моей спиной в нескольких шагах спала Майя. Всю жизнь шел к ней!

Единственная... Люди истерли это слово. Не я первый, не я последний нуждаюсь в нем. Единственная... Уже использовано, но другого-то нет.

Всю прошлую жизнь — к тебе, всю будущую — рядом! И стану постоянно оглядываться на себя...

Без тебя толкался бы среди людей человек, наверное, не столь уж и дурной, но прощающий себе многое. Озаренная тобой жизнь впереди — нет, не подведу, буду достоин тебя, Майя!

Буду! И это тебе подтвердят люди. Ты сделаешь счастливым меня, а я их. Отдам им себя без остатка, все силы, какие есть, всю жизнь день за днем. Клянусь, Майя, буду!..

Но люди могут и не понять, что начало начал — ты, от тебя рождается. Они не догадаются вознести тебе благодарственную молитву.

Так я за них провозглашу тебе, Майя, многие лета!

Да пусть всегда исходит на меня твой свет!

Да не иссякнет твое влияние на меня!

Да станет вечен твой светлый дух!

Да будет жить он и в поколениях после нас!

Единственная среди людей —

Жизнь дающая!

Меня окружал океан света. Отдыхал внизу чистый, праздничный город. Я молился. И мое божество лежало за моей спиной, подсунув под щеку сжатый кулачок.

## Глава вторая

### УТРО

#### 1

В школе у меня было много учителей, научивших меня понимать бином Ньютона, периодическую систему Менделеева, естественный отбор Дарвина. Но, увы, ни про одного

из учителей школы я не могу сказать: это он направил, он определил мою жизнь, он изначальный творец моего будущего — Учитель с большой буквы! Настоящий Учитель всегда ниспровергатель, он переворачивает с ног на голову твой привычный мир, в простом заставляет видеть сложное, сложное низводит до емкой простоты, и черное после него становится белым.

Лишь в институте я наткнулся на человека, кого смею назвать этим высоким именем.

«Он создал нас, он воспитал наш пламень!» Нас было не так уж и много, со всего курса только двое стали его аспирантами — Витька Скорников, мой приятель, и я. Витьку Скорникова он едва ли не проклял... за излишнюю верность себе.

Борис Евгеньевич Лобанов, многолетний заведующий кафедрой прикладной химии в нашем институте, в свое время сделал открытия, которые позволили изменить технологию получения азотистых удобрений. И до сих пор в специальной литературе среди других почтенных имен постоянно упоминается его имя. Виктор загорелся примером Бориса Евгеньевича: добыть те же удобрения, но дешевым способом, из самого дешевого сырья — воздуха! Казалось бы, весьма похвально — верный ученик идет по стопам Учителя. Но Учитель сам был недоволен собой.

Он теперь постоянно приводил слова Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит». В США с 1949 года по 1968-й производство зерна на душу населения увеличилось на шесть процентов — всего лишь на шесть за девятнадцать лет! — а использование удобрений на... 648 процентов! Оказывается, химические удобрения «подобны наркотикам: чем больше их используют, тем в больших дозах они требуются». Только слепой может не видеть, что за малые победы грядет великая месть!

Борис Евгеньевич Лобанов убеждал в этом своего ученика Виктора Скорникова, но ученик остался верен старому профессору Лобанову, подарившему стране многие тысячи тонн удобрений, а вместе с ними многие тысячи тонн хлеба... Виктор, воспользовавшись случаем, перевелся в другой город, в другом институте успешно защитил свою диссертацию.

Борис Евгеньевич отзывался о нем с горечью:

— Не освободил себя от обезьяны — мастерски способен передразнивать других, а найти свое, увы, не дано.

В устах в общем-то деликатного Бориса Евгеньевича это звучало почти как проклятие.

Где-то в прошедших веках родилось убеждение: победителей не судят! В наш парадоксальный век появились победители, пристрастно судящие свои победы. Те, кто помог открыть ценную реакцию, раньше, громче, тревожней, чем кто-либо заговорили о страшной радиоактивной опасности. Лео Сциларды и Роберты Оппенгеймеры существуют и в других науках, пусть они не столь известны миру, но их нешумная тревога, право же, не менее обоснована.

Доктор химических наук Лобанов был из таких — судил свои победы, считал, что они представляют угрозу для будущего.

Должно быть, такой самосуд не проходит безнаказанно для ученого. Тот же Роберт Оппенгеймер в ядерной физике уже больше ничего не сделал, стал заниматься санскритом. Борис Евгеньевич продолжал преподавать студентам химию, следил со стороны за нашими работами, но сам уже в лабораторию не заглядывал, научных статей давно не писал, а только популярно-просветительские — о биосфере, экосфере, о глобальном равновесии. Он стал активным членом разных обществ, комитетов, комиссий по охране среды от загрязнения. Хлопотал, заседал, составлял докладные, стучался в высокие кабинеты. Он по-прежнему считался моим научным руководителем, но охотнее разговаривал со мной о проторях и убытках человеческого существования, чем об азотно-фиксирующих бактериях, которые стали предметом моего исследования.

Нет, Борис Евгеньевич не мог упрекнуть меня, как Виктора Скорникова, в «обезьянничанье». Мой учитель был «чистым» химиком, я, его ученик, стал биохимиком, и крен в эту сторону наметился у меня еще в студенческие годы.

Личная исповедь и наука — вещи, обычно не совместимые, но нельзя миновать того, что заполняло и заполняет мою жизнь, а потому придется рассказать, чем именно я занимаюсь.

И мы, и все живое, что нас окружает, собственно, состоим из азотистых соединений. Азот — это наша жизнь, наша пища, мы постоянно пуждаемся в азоте. И мы купаемся в нем, в великом океане азота — нашей атмосфере. Но только купаемся. Каждый из нас может в нем умереть

от азотного голода. Тот азот, который нам нужен, мы получаем из земли сложным путем — через растения, через мясо животных. Атомы азота в воздухе спаялись в «глухую» молекулу, ни на что не реагирующую и невероятно прочную. Чтоб расколоть ее, нужна, например, температура едва ли не выше, чем на Солнце. Такой орешек человеку раскусить не под силу.

Но каким-то чудом ее удается «раскусывать» растениям, они питаются азотом воздуха, однако и для них эта пища тяжела, от нее сыты не бывают. И тут им на помощь приходят бактерии. Есть счастливицы растения, у которых прямо на корнях проживают колонии микроспециалистов по добыванию азота из воздуха — прославленные клубеньковые бактерии. Вот если б они квартировали на корнях пшеницы или ржи, то человечество тоже было бы счастливо — с каждым урожаем наши почвы не оскудевали бы, а становились еще плодородней.

Однако существуют бактерии, которые живут в почве сами по себе, ни с какими растениями не связаны, но брать азот из воздуха способны. Их открыли еще в конце прошлого века и возликовали: стоит начать их разводить, запускать в почву — и тощие подзолы, даже песок, даже материковые глины станут обильно плодоносить. Увы, азотобактеры оказались капризны и рахитичны. Они сами еще больше растений нуждались в хороших почвах.

Где-то на четвертом курсе я загорелся — что, если посвятить жизнь этим азотобактерам?! Они же, бактерии, — не в пример людям и зверям, у них поколения сменяются поколениями в течение часов, а не десятилетий и не столетий. А потому и наследственные отклонения у них — дети не похожи на своих родителей! — должны случаться достаточно часто. Могут появляться более хилые и нежизнеспособные, а могут и стойчески выносливые, преодолевающие самые неблагоприятные условия. И мне казалось, что стоит лишь с усердием и терпением заняться разведением азотобактеров, помещая их все в более и более неблагоприятную среду, как рано или поздно в моих руках окажется пекий мутант — сверхазотобактер! Он будет чрезвычайно жизнестоек и неприхотлив, вот тогда-то и вноси его в подзолы, в пески, в материковую глину, превращая их в плодоносящие почвы!

Свои наивные мечтания я пресек сам, сам дошел до простой и обескураживающей мысли: азотобактеры существуют многие миллионы лет, природа паверняка их ста-

вила в разные условия, и если до сих пор не существует тот сказочный азотобактер, то что-то мешает, что-то столь непреодолимое, перед чем пасует даже всемогущий естественный отбор.

Совсем недавно открылось, что растения-счастливицы не только принимают помощь от бактерий, но и сами помогают им. В Москве на Долгопрудной профессор Турчин получил из сока растений таинственную пока жидкость. Волшебный эликсир, дающий чудесную силу клубеньковым бактериям. Но азотобактеры-то справляются без растений! С помощью чего? Фабрикуют ли они сами такую жидкость? Или имеют еще что-то, не менее удивительное? Словом, передо мной замаячило — открыть то непреодолимое, что мешало природе пестовать сверхазотобактеры! Открыть, найти обходной путь к тому, чтобы подзолы, пески, материковые глины плодоносили, словно тучный чернозем!

Для многих моя тема казалась фантастической, но не для Бориса Евгеньевича.

— В ней есть сумасшедшинка, — говорил он, — но весьма умеренная, компромиссная... Видите ли, дорогой мой, чтоб быть вашей идее по-настоящему прозорливой, мешает одна консервативная уступка — само пахотное поле! Вы его решили улучшить, но все-таки оставить для будущих поколений, а оно, ох, накладной подарок. Рано ли, поздно население так возрастет, что придется распахивать всю свободную от застроек землю, иначе не прокормишься. Пахотные поля сожрут все леса, а значит, высушат реки, вода станет дефицитом, пустыня — повсеместным явлением. Спасительна ли по большому счету ваша идея, рассудите сами?..

Объемистый лысый череп, запавшие виски, жестковатое лицо аскета с прямым решительным носом, и нерешительные голубые рассеянные глаза, и легкое сухое тело бывшего спортсмена — когда-то давным-давно Борис Евгеньевич брал призы по лыжам. Он был старше моего отца на целых десять лет, но ни один из молодых ученых в нашем институте не мог сравниться с ним в воинственной непримиримости к общепринятому, устоявшемуся. Эка, куда хватил — корми людей и не паши землю!

Я пытался уязвить его, смиренно спрашивал:

— А какой вы представляете себе спасительную идею?

Он смеялся и обезоруживающе разводил руками.

— Не знаю.

Впрочем, я понимал: его слова прямого отношения к нашей науке не имели, просто появился повод лишний раз высказаться о трудной судьбе рода человеческого, которая не давала покоя ему в последние годы. А уж раз повод появлялся, то остановить Бориса Евгеньевича было нельзя.

— Сейчас считается высшим благом — открыть новое, никому не ведомое, тогда как куда для всех нас важнее понять простое и очевидное. Все видят — идет демографический взрыв, планета уже тесна, а станет и вовсе не хватать места под солнцем, люди начнут задыхаться в общей давке. Казалось бы, чего проще — договориться, пока не поздно, о регулируемости рождаемости. Ан договориться-то мы и не способны. Вспомните старый гоголевский конфликт Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Гоголевские Иваны глупы, необразованны, с таких, мол, и взятки гладки. Но я вот много лет слежу за теми, кто меня окружает, люди с высшим образованием, многие из них, право, по-настоящему умны, а гоголевские Иваны по сравнению с ними еще терпимые люди...

Мне хорошо было известно, о чем говорил Борис Евгеньевич. Я знал, что профессор Пискарев давно ненавидит профессора Зеневича. В оны времена, еще до моего появления в институте, Зеневич сострил о пискаревской теории теплового видоизменения растений: «За вкус не ручаюсь, а горячо подам». Сам Пискарев давно отказался от своей теории, профессора вежливо здоровались при встрече, улыбались друг другу, и... старая история Монтекки и Капулетти повторялась в наших стенах. Молодые студенты, едва оглядевшись в институте, уже начинали прикидывать, к какому клану им прислониться. Пискаревцы с зеневичевцами, Монтекки с Капулетти — в коридорах, на семинарах, на собраниях, на ученых советах мелкие стычки и крупные сражения, легкие уколы и тяжелые удары, «да» одних непременно становится «нет» для других. Слава богу, Борис Евгеньевич был слишком крупная фигура для этой междоусобицы, перед ним могли только заискивать, но втянуть не пытались. За надежной спиной своего шефа и я спокойно жил, без помех работал.

— Не найдено способа, как совместить иванов ивановичей с иванами Никифоровичами. Ни о какой договоренности в масштабе всего человечества и речи быть не может. «Грустно жить на этом свете, господа!» Ой, нет, нам уже теперь не до грусти...

Все это «жомини да жомини»<sup>1</sup> — разговоры на отвлеченные темы, а кто-то должен был делать науку, обещающую: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Я тащил лабораторию на себе, все меньше и меньше рассчитывал на помощь своего старого Учителя. И бегал плакаться на него к Зульфие Козловой, единственному другу и поверенному, так как Витька Скорников давно уже перебрался в Новосибирск.

## 2

У Зульфии узкий, стиснутый с висков высокий лоб, потухше-матовый цвет лица, бархатные ласковые глаза и в черных, гладко забранных в пучок на затылке волосах робкая седина. Она всегда сидит в одной и той же позе, уютно подвернув под себя ногу, облокотившись на диванную подушку.

— Мир без праведников не живет, а праведней не становится... — Голос ее ленивый и убаюкивающий, однако им она может произносить и жестокие истины, и язвительные упреки. — Лобанов перестал быть ученым, сам знаешь, не потому что выдохся. Наоборот, у старика наступило второе дыхание, а вместе с ним и самомнение: силен, мудр, все по плечу, даже праведнические подвиги. Выжимать из бактерий крупицу пользы — уже не серьезное. Взять быка за рога, перестроить больной мир — на меньшее он не согласен. Весьма распространенная глупость беспокойных и мыслящих людей.

— Глупость мыслящих?..

— А ты считаешь, что это миленькое свойство присуще только дуракам? Какая наивность! Непреходящие глупости, милый мой, чаще совершают мыслящие, уже потому только, что они в большее вникают, глубже зарываются. Поверхностный дурак вообще не способен родить оригинальную глупость, повторяет лишь чужую, всем очевидную, значит, и не столь опасную. Возьми, к примеру, Жан-Жака Руссо, глупцом, право, не назовешь, а глупостей нагородил столько, что два века с ними носятся и износить не могут.

---

<sup>1</sup> Перефраз строк из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара»: «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова». Жомини — французский генерал, перешедший на службу в русскую армию. (Примеч. автора.)



— Ты считаешь, что желание перестроить мир — глупость?

— Да неужели ты считаешь иначе?

— Но люди тем только и занимаются, что перестраивают и подправляют доступный мир.

В ее ласковых глазах теплится снисходительная усмешка.

— Полно, мальчик, полно, не повторяй чужих заблуждений. Построить плотину, повернуть вспять реку еще не значит изменить мир.

— И все-таки от плотины, от повернутых рек мир меняется.

— Точно так же, как и от коз, которые выедают кустарник на острове, предоставляя дождям и ветру сносить почву, оставляя бесплодные скалы. Человек, по сути, поступает по-козьему, вся разница в масштабах.

Зульфия, обласкивая меня взглядом, выжидающе замолкает. Она знает не только, что возражу я, но уже заранее приготовила свой ответ.

— Ты хочешь приказать разуму, — говорю я с досадой, — на то-то дерзай, на то-то не смей замахиваться. Кто установит границу между дозволенным и недозволенным?

— Да сам же разум, золотко. Не кто другой, а разум открыл нам вселенское чудище — разбросанные по пространству несчетные галактики и нас среди них, нечто невразумительно малое, греющееся у жалкой звезды. Если ты действительно разумен, то сообрази: что можем сделать мы... мы с миром?! Перевернуть его развитие по нашему желанию — ха! Согласись, что глупо... В награду за твою милую доверчивость я сейчас постараюсь напоить тебя чаем. Сиди и жди, не смей срываться. Вот тебе твой Босх...

Она любит обрывать спор в самом накале, но уже тогда, когда, по ее мнению, противник прижат — пока не осознал поражения, пусть дозревает сам с собой, почувствует свое ничтожество, постигнет ее великодушное величие. Чай появляется в каждую нашу встречу, но всегда в разное время, всегда он некая торжествующая пауза.

Как-то однажды я наткнулся в ее книгах на цветную, роскошно изданную монографию — Иероним Босх. И каждый раз, как только выдавалась свободная минута, я со странным, почти нездоровым любопытством начинал смаковать изощренные кошмары, созданные большим воображением этого средневекового художника: всадники с репейными головами на опрокинутых кувшинах, зеленые

ведьмы с чешуйчатыми хвостами, уши, отрубленные человеческие уши, зажавшие карающий нож, умиление в соседстве с агонией, целомудренность в обнимку с развратом, наслаждение и рвотность, тошнотворнейшие химеры и лица людей тошнотнее химер. От этого необузданного безумия, от буйного до безобразия хаоса надрывных страстей я сам начинал разлаживаться — чувствовал отвращение и упивался, отдавал себе отчет, что это воспаленный бред свихнувшегося гения, и мучительно искал в нем разумную логику, настраивал себя на пророческий лад и испытывал озноб. Мне и неприятно мое нездоровое раздвоение и доставляет удовольствие, почти что мстительность, только не понять — мстительность кому?.. Зулфия не видела ничего странного в моем интересе к Босху, без задней мысли подсовывала — развлекись на досуге.

Насколько замысловато сложны бывали ее рассуждения, настолько неухищренно просто принимала она наши отношения — никаких условностей, претензий, требований, обещаний. Неприкаянная жизнь, видать, научила ее терпимой мудрости: цени любую близость, если она спасает тебя от одиночества. А в институте, да и во всем городе у нее, кроме меня, близких людей не было.

И все-таки связь наша оказалась непрочной — лопнула сразу, как только появилась Майя. Сразу же после блужданий вокруг Чермуховского озера с тремя студентами, оторванными от уборки картошки, еще до первого свидания с Майей в городе я вдруг ощутил в себе такую несокрушимость жизни, что фатальные рассуждения Зулфии о судьбах человеческих мне стали казаться просто смехотворными. Подогнув ногу, с улыбочкой на губах, за чашкой чая — о страстях-мордастях судного дня, эва!..

Зулфия не демонстрировала переживаний, не искала случая объясниться, сама отодвинулась в сторону. А наша близость — единственное, что скрашивало ее одиночество. И я знал, Зулфия давно тяготится своим неопределенным положением в институте...

Меня несколько не удивило, когда услышал: она собирается уезжать от нас.

Она перехватила меня в коридоре. Подбородок утоплен в воротник, низко надвинутая на лоб меховая шапочка, лицо осунувшееся, тусклое, в углу сжатых губ вздрагивающий живчик и голодный, ищущий взгляд.

— У тебя сейчас ничего срочного? — вопрос в сторону. Меня ждали в отделе кадров, где я должен был офор-

мить с трудом пробитую Лобановым новую единицу для лаборатории, но понял, срочное надо забыть.

— Ничего.

Она вытащила из папки крупную книгу в цветистом глянцево-м супере.

— Вот... На память.

Иероним Босх.

— Тебе же нравился этот художник...

— Да, — солгал я. — Спасибо. Ты сейчас?..

— Такси уже ждет внизу.

Беспросветно бархатные глаза.

— Все повторяется, Павел, все повторяется: никто обо мне здесь не заплачет, и никто не встретит меня там с радостью.

И бархатность исчезла, глаза заблестели от навернувшихся слез.

В такси мы ехали замкнутые каждый в себя. Устремленный в пространство профиль, взметнутая в напряжении бровь, в углу сжатого рта неуспокаивающийся живчик.

— Я никогда не боролась за себя. Почему? — вдруг спросила она.

Не мне отвечать на этот вопрос.

— Похоже, мое появление на свет было не запрограммировано, потому-то всюду я лишняя. А лишним не только невозможно бороться за себя, хуже — неприлично!

Застывшая на взлете бровь, под жесткими ресницами подозрительный блеск, дергающийся в углу рта живчик.

### 3

Я посадил ее на поезд и в последний раз увидел ее лицо сквозь мутное стекло вагона — печальное и отстраненное. Поезд тронулся, и она ушла, унося в неуютную даль свою неустроенность.

Господи! Как непрочно мы все привязаны друг к другу! Зулфия, уехавшая неоплаканной, а не потеря ли это?

Майя, счастливо найденная после долгих, долгих поисков. Но нить, соединяющая нас, еще тоньше, чем была с Зулфией. Пока мы лишь украдкой встречались, я еще не посмел выдать из себя признания, и момент, когда в темном зале кинотеатра «Радуга» я положил свою руку на ее, был тогда впереди. Я нашел Майю, она вдруг также

найдет другого — порвет все, останусь один. Не лучше бы задержать Зульфью... Уехала неоплаканная.

Никогда я не предавал Майю, даже мысленно. Только тут — в первый и последний раз.

Стоял морозный вечер, свежевывавший снежок хрустел под ногами. Я круто завернул в привокзальный ресторан.

В потном воздухе висит пластами табачный дым, слитно-глухой гул голосов, ляг тарелок, неистребимый запах кислых щей. Встрепанные женские прически и прически монументальные, гладкие проборы и розовые лысины, цветные мохеровые шарфы и помятые командировочные пиджаки, золотые погоны офицеров и незатейливый ситчик, обтягивающий пышные телеса. И кругом суетное шевеление, сосредоточенность над тарелками, полупьяные голоса и призывы до вопля:

— Официантка!.. Девушка! Девушка!..

Взмывленные девушки-официантки в сбившихся пахламеленных кокошниках плавают над суетным многолюдьем.

Каждый привокзальный ресторан — маленький Вавилон, смещение народов, чужих друг другу, не пытающихся друг друга понять. Заблудиться в этом Вавилоне — незавидное счастье того, кто одинок.

Компания — двое краснолицых мужчин и две разомлевшие женщины — поднялись, оставляя после себя разграбленный стол, и я поспешно занял нагретый чужим задом стул.

Зульфья уже далеко за городом — кочевница двадцатого века. Ныне страждущие покоя мечутся как угорелые, а умные понимают меньше глухих.

Я сидел, задумавшись, за неприбраным столом. И вот тут-то ко мне подошел он. Из толпы, из содома бесцеремонно нырнул в мое одиночество.

— Свободно? — вежливо тронул спинку стула.

Я кивнул, он уверенно опустился, положил на стол красные руки, уставился на меня изучающе, но дружелюбно. Тощий, длинный, из ворота растянутого свитера, как квац из махотки, высывалась тонкая кадыкастая шея, лицо узкое, подсушенное, разрез рта старчески аскетический, нос мелкий, точеный, мальчишески вздернутый. Он уже успел потерять признаки возраста — двадцать ли лет всего или уже за тридцать? — но явно бывалый человек. Одет бедно — поверх свитера потрепанный пиджачок, — в жизни не преуспевает, а держится свободно и независимо. Возможно, независимость наигранная, возмож-

но, он из ранних алчущих, готовых стать другом первого встречного ради стопки водки.

Он участливо спросил:

— Гоже приезжий?

— Нет, здешний.

— А я только что с поезда. Из Минска сюда.

Я сейчас нуждался в друге-собеседнике, а нет более душевного друга, чем жаждущий выпить. Уж он-то, можно не сомневаться, будет предельно внимателен, отзывчив на каждое слово, на каждый твой вздох. С такими людьми быстро устанавливается пусть мимолетная, зато горячая любовь к ближнему.

— Хотите выпить со мной? — предложил я.

Он тряхнул запущенными космами.

— Не употребляю.

Вот те раз! И я невольно устыдился своих скоропалительных подозрений.

— Учтите, — тоном завсегдатая предупредил приезжий, — водки здесь не подают, только дорогой коньяк.

— Вытерплю. Так вы отказываетесь?

— Вместо дорогого коньяка закажите мне тарелку дешевых щей. Я голоден. — Без смущения, без заискивания, глядя мне в глаза открытым светлым взглядом.

Зато смутился я, поспешно согласился:

— Да, да, закажите себе что хотите. Я понимаю, каждый может оказаться в стеснительных обстоятельствах.

Он усмехнулся.

— Это мое обычное состояние — не иметь денег на тарелку щей.

Все больше и больше он мне нравился. Откровение за откровением, я спросил:

— Кто вы, странный человек?

— Разве не иметь денег так уж странно?

— На щи, пожалуй, что да. Теперь каждый на это зарабатывает.

— А я не работаю.

— Чем же тогда занимаетесь?

— Езжу. Гляжу.

— Имея при этом какую-то цель?

— Нет.

— Но на разъезды нужны деньги.

— Мне их дают.

— Кто?

— Случайные знакомые, вроде вас.

— Дают? Добровольно?

Я, наверное, с большим, чем пужно, любоньтством по-  
глядел на него, и он меня спокойно осадил:

— Успокойтесь, я не вор и не вымогатель. Впрочем,  
вы не первый, кто подозревает меня в дурном.

— Да, боже унаси, в мыслях не было подозревать вас  
в дурном... Но как все-таки понимать — случайные знако-  
мые?

— А как объяснить, что вы предложили сейчас накор-  
мить меня? Вы случайный знакомый.

— Ну, а если бы я, случайный, совершенно случайно  
вдруг оказался еще и феноменально скудным?..

— Нашелся бы другой. Непременно.

— Так уж и непременно?

— Да. Вы не замечали, что добрых людей не столь уж  
и мало па свете. Их куда больше, чем неотзывчивых.

Он каждым ответом клал меня на лопатки. Кажется,  
мне следовало извиниться перед ним:

— Похоже, за свой жалкий хлеб-соль я бесцеремонно  
выматываю вам душу. Простите, постараюсь ни о чем  
больше не спрашивать.

— Спрашивайте, не стесняйтесь, вы нисколько не оби-  
жаете меня.

— Мне кажется, вы достаточно образованный человек.  
Вы что окончили?

— Не окончил экономический институт, бросил его на  
четвертом курсе.

— Почему?

— Да потому, что понял — меня готовят к тому, что-  
бы я кому-то подчинялся и кого-то подчинял. Ни того,  
ни другого я делать не хочу. Решил жить свободным от  
всех и от всего, обязанным лишь доброте встречаемых  
людей.

— И вас не тяготит, простите, роль постоянного про-  
сителя?

— Ничуть. Я прошу иногда, но никогда не выпраши-  
ваю. Вы бы могли отказать мне сейчас, ни умолять, ни по-  
вторять своей просьбы я бы не стал.

— Нисколько не сомневаюсь.

— А я не сомневаюсь в другом — если я вдруг отка-  
жусь теперь от вашего обеда, вам будет очень неприятно.

— Вы правы.

— Вот вам пример: людям очень хочется, чтоб кто-то  
принял от них то доброе, на что они способны. И пред-  
ставьте, если все перестанут из ложной стеснительности  
обращаться за помощью друг к другу, не будет и возмож-

ности проявлять доброту. Это качество усохнет за ненадобностью.

— Странно... И возразить тут ничего не могу.

— Почему-то всем это кажется странным. Странно обратиться к ближнему — помощи; не странно — вырвать у него ловким маневром кусок изо рта. А как часто такое делают люди, считающие себя глубоко порядочными...

Я не успел ничего ответить — над нашим столом стояла официантка в кокошнике, с вопрошающим взглядом и огрызком карандаша, нацеленным в развернутый блокнотик.

Я стал заказывать обед незнакомцу.

Его звали Гоша Чугунов. После обеда я поинтересовался:

— Где же вы будете ночевать?

— На вокзале, — ответил он. — Если, разумеется, нельзя будет переночевать у вас.

И я, не колеблясь, согласился:

— Именно у меня-то и можно. Я один как перст.

Так Гоша Чугунов впервые вошел в мой дом.

И случилось это года за полтора до лунного затмения, соединившего меня с Майей.

#### 4

После лунного затмения прошло полмесяца, заполненного сближением с Майиными родителями и переоборудованием моей холостяцкой однокомнатной квартирki под семейное гнездо.

Впрочем, переоборудование было не суетным, не утомительным и даже не особо дорогостоящим. Железную, взятую в свое время напрокат у коменданта институтского общежития койку вынесли вон, на ее место встала тахта, просторная и зеленая, как кусок весеннего поля. Над ней в изголовье я привинтил к стене матовое бра. Сменили шторы на единственном окне (оно же и дверь на балкон). В кухне повесили белые шкафчики, а кухонное окно тоже украсили занавесочкой в пестрых цветочках.

И однажды вечером Майя привезла из дому маленький коврик, положила его на пол возле тахты, отошла к двери, постояла, склонив голову, уронив на чистый лоб прядь волос, произнесла удовлетворенно:

— Кажется, все.

Я взгляделся и поразился: вещи в комнате вдруг не-

зримо стали связаны друг с другом. Матовое бра в изголовье — с зеленым простором тахты, полки с книгами, внушительно серьезные, с письменным столиком; он, старый, несолидный, один из тех казенных столов, что украшают второразрядные учреждения, обрел неожиданно свою физиономию, и кресло, придвинутое к нему, выглядело столь значительным, что казалось, внушало: стою не просто для удобств, сиденье, рождающее глубокие мысли. Робость берет. И центром, связывающим все и вся — бра, тахту, полки, стол с глубокомысленным креслом, — был коврик, только что разостланный на полу Майей. Без него не существовала бы незримая гармония, заполняющая наше жилье.

А на стене — хохочущая осенняя рябинка Грабаря...

И я стоял, пораженный этим разлитым по знакомым вещам непривычным мне покоем. Стоял и наслаждался. Вот через это пойдет моя жизнь. Она будет, конечно, обременена заботами, суетой, часто дерганная и нервная. И ты станешь временами уставать от нее, но каждый вечер приходить сюда, в эту нехитрую гармонию бра, тахты, стола с креслом и коврика на полу и обретать силы. И здесь тебя будет всегда ждать она, созидательница гармонии, творец покоя. Что еще надо? Можно ли желать большего?

Вот оно, оказывается, как выглядит человеческое счастье!

И, должно быть, Майя переживала то же самое. Она попросила:

— Задерни шторы.

Верно! Через окно к нам рвется внешний мир — наш город, столь же шумный, как и остальные города на свете, в нем разные люди переживают разное. Потом мы вернемся к ним, станем жить среди них, вместе с ними радоваться, вместе с ними сострадать. Потом... Сейчас у нас свое, и мы им ни с кем не желаем делиться.

Мы сидели на новой тахте и пили кофе. Впервые семейному. А я думал о том, как много у нас — бесконечно много! — впереди таких вот вечеров, отгороженных от всего и от всех, глаза в глаза. Думал и обмирал: вероятно ли такое? Рядом с ней...

У Майи лучились глаза и вздрагивали губы. Она бережно взяла мою руку.

— Павел... Плохо, когда с детства веришь, что ты чем-то лучше других, необыкновеннее. А я, кажется, родилась с этой мыслью.



— Каждый мальчишка и девчонка, Майка, думают, что они пуп земли... пока не вырастут.

— У меня это затянулось... до девятого класса. И ведь училась так себе, и никаких талантов не было: стихи писала — бросила, рисовать бралась — не получалось, в кружке самодеятельности играла — как связанная на сцене и голосишко слабый. Ну ни проблеска, а так верила — лучше других, необыкновеннее! — что и все кругом тоже начали верить. Подружки завидовали, не зная чему, ребята относились с почтением. Почему?..

— Ты красива, Майка. Красота — дар божий, вроде таланта.

— Ах нет, у нас в классе Ниночка Румянцева — глазищи во, коса через всю спину. Я дурнушка рядом с ней. А ей не завидовали, только два самых тихоньких парня, Кусенков и Фунтиков, в нее влюблены были... Ну а в девятом классе я задумалась: школа-то кончается, куда дальше идти, кем быть?.. Кем, Павел? Математику и физику не любила — в технический вуз мне и соваться нечего. Куда — в театральное, в консерваторию, в художественный институт? Лучше других, особенная! Тут-то вот и очнулась — с высокой горки да в лужу!..

Лучистые глаза Майи потухли, взгляд ушел внутрь, на изогнутых губах блуждала улыбка, страдальческая и растерянная.

— Педагогический институт под боком, пошла в него... И распаяла себя — стану, мол, преподавателем литературы, не таким, как все, свой подход найду, свой метод открою. Рисовала себе, как я детискам о Пушкине рассказываю: притихший класс, круглые глаза... Дохожу до того, как раненый Пушкин умирает в своей квартире на Мойке, прощается с женой и с друзьями, все плачут, и я вместе со всем классом... Умиление, да и только. Опять возомнила, что уж стану не иначе, как великим педагогом. Ян Коменский в юбке! Опять, Павел, опять! Тебе не смешно? Ну улыбнись, скажи, что я дура наивная. Стою того.

— Я и сам, Майка, о памятнике мечтал.

— Ты — о памятнике? Каком памятнике?

— Бронзовом, во весь рост, вроде первопечатника Ивана Федорова, только без бороды. И ставил его в мыслях посреди нашей деревни — куры порхаются, козы травку щиплют, бабы с ведрами к колодцу идут, а я стою... на пьедестале.

— А за что тебе памятник, ты знала?

— Смутно, Майка. За какие-то потрясающие научные открытия, конечно... от благодарного человечества.

Она сидела передо мной, неулыбчиво серьезная, немножго озадаченная, что-то соображала про себя, наконец тряхнула волосами:

— Но ты и сейчас веришь, что сделаешь открытие?

— Пожалуй... Только памятника себе, право, уже не хочу.

— А у меня от веры в себя ничего... ну, совсем ничего не осталось — пусто. Года не проучилась, как поняла — какое там, буду учительницей-словесницей в школе. «В окончаниях существительных после шипящих и «ц» под ударением пишется «о» и без ударения — «е»... Изодня в день, из года в год вдалбливать в ребячьи головы такие вот правила, и горы тетрадок с орфографическими ошибками, и скучные, казенные программы, из которых не смей выскочить, и хошь не хошь, а гоняйся за процентом успеваемости, отчеты, педсоветы, методические совещания... В себя заглянешь — пусто, вперед заглянешь — не светит. И никто, никто не виноват в том, сама такая нелепая — как ни верти, а ни к чему себя не приладишь. Павел!.. — Ресницы ее взметнулись, глаза огромные, пугающе темные. — Я презирать себя стала, презирать! Со стороны посмотреть, живу как все, встречаюсь с людьми, болтаю о пустяках, смеюсь, а внутри эдакий сверчок сидит и пилит, пилит: «Пустое!.. Пустое!.. Пустое место!..» Иной раз не выдержишь, сорвешься на мать, на подруг... Главным образом матери доставалось... И по ночам в подушку плакала от тоски, от жалости к себе, такой недоте...

Я пошевелился, хотел негодующе возразить, но она подалась на меня — распахнутыми глазами, всем телом.

— Молчи!.. Я бы до сих пор так и барахталась в себе, если б не ты. А ты несколькими словами... Там, над Настиным омутом, под Его улыбкой... Ты сказал мне, помнишь: «Заглохнет нива жизни»... Так я поверила, Паша, поверила! В невероятное, в то, что я женщина, жизнь воскрешающая и жизнь украшающая, младшая сестра тех, кто вдохновлял Гомеров. Нет, я не брошу институт, наверно, стану учительницей. Может, и не совсем плохой. Будет у меня, как у всех, профессия, но призвание... Мое призвание, Паша, быть запалом, взрывающим силы. Да, да! Силы, которые будни сделают сказкой, из глины сотворят прекрасное! Вер-рю-ю! Вер-рю-ю! Мне выпало счастье поджигать тебя, тебе — взрываться!..

Глаза ее горели, щеки пылали — задохнись и за-  
жмурься. Я сидел оглушенный.

Рядом с ней — вечность! Вероятно ли такое?

Вероятно. Не пугайся, ты не один счастливец на свете.

Да благословенны будут все, кто нашел друг друга!

Да неиссякаемо будет до конца дней раз и навсегда  
обретенное счастье!

Да повторится оно в наших детях, в детях наших де-  
тей и дальше, дальше, пока род людской жив на планете!  
А может, еще дальше — повторится в запланетных и за-  
солнечных далях, куда устремится беспокойное челове-  
чество и свое человеческое унесет с собой.

Всем, всем, всем, живущим сейчас, и тем, кто будет  
жить, — таких вот минут с глазу на глаз!

## 5

Раньше это событие именовалось торжественно — «вен-  
чание». Сейчас в лучшем случае называют сухо, по-дело-  
вому, без особых сантиментов — «бракосочетание». Но и  
столь деловое слово кажется уже нам излишне возвышен-  
ным, мы предпочитаем пользоваться канцелярским лекси-  
коном — «зарегистрироваться», «расписаться». Богатый и  
красочный русский язык тут оскорбительно оскудел и вы-  
цвел.

Столь обидное пренебрежение к знаменательному мо-  
менту, отмечающему создание новой семьи, было замече-  
но даже нашими городскими властями. Нет, они, власти,  
не собирались вводить в разговорный обиход высокий  
стиль, зато предприняли ряд решительных мероприятий.  
Для начала были выделены соответствующие сметы, и к  
скучному зданию бывшего, не очень респектабельного ре-  
сторана-шашлычной «Казбек» пристроили некое архитек-  
турное излишество — портик с высоким крыльцом и ко-  
лоннами в псевдоионическом стиле, придав тем самым  
респектабельность, превратив бывшую шашлычную во  
Дворец бракосочетания. Магазин готового платья рядом  
обрел новую вывеску, а вместе с ней и новую специфику,  
стал «Магазином для новобрачных». И хотя в нем ничего  
особого не продавалось, но уже входить в него можно бы-  
ло только по особым билетам.

Казалось бы, городские власти вполне преуспели в  
своем усердии, однако и этого им показалось мало. Они  
обязали один из комбинатов бытового обслуживания —

изготавливавший алюминиевые кастрюли — чеканить памятные медали, коими администрация Дворца бракосочетания награждала молодоженов. Похоже, не каждый-то город достиг такого.

Колонны ли в стиле древних греков, памятная ли медаль тому причина, но так или иначе, а во Дворец бракосочетания надо было записываться в длинную очередь и набираться терпения на долгие месяцы, если не на годы.

Для тех, кто этим терпением не обладал, колоннами и медалью не соблазнялся, существовали районные загсы. Они не столь торжественно, по тем не менее успешно перерабатывали холостых в молодоженов. Здесь уже не «бракосочетали», а «регистрали» и «расписывали».

Мы с Майей предпочли районный загс.

К загсу на Конармейской улице подкатили в точно назначенное время и увидели — кучки празднично одетых людей, в каждой, как пчелиная матка среди роящихся пчел, невеста в белом одеянии.

Нас встретили перекатные разговоры ожидающих.

— Бракосочетательный затор получается.

— Теперь везде очереди, хоть газету купить, хоть жениться.

— Население выросло, то ли еще будет.

— Да не в населении дело, политика ныне другая. Раньше-то, в наши времена, весь загс — одна комнатенка, а в ней девица с завязанной щекой — зубы болят. Пять минут — все обстригает и «до свидания» не скажет. Теперь речь произнеси, и обязательно с чувством, и кольца вручи, и шампанского дай выпить, снова без речей нельзя. Культура выросла.

— Тоже работенка — зашиваются.

Боря Цветик, приятель Майиной подруги, владелец «пожарного» «Москвича», как наиболее молодой и энергичный из нашего окружения, стал решительно выяснять обстановку:

— Граждане обручающиеся, кто на какое время? Мы вот определены на три часа тридцать минут, а вы на сколько, невеста?

— За нами будете, мы на три десять.

Невеста — из белого крепа выпирают телеса, лицо плоское, широкое, прозрачная фата с жидких завитых волос падает на дюжие плечи. Она одна среди невест держится независимо, говорит громко, озирается величаво.

Остальные юны и пугливы, таращат глаза, жмутся к родителям. Окружение решительной невесты неприметное и подавленное, рядом с ней долговязый парень в новом костюме — пиджак коробом и галстук душит шею. У него правильное деревянное лицо. Жених.

— Но вы сейчас идете? — допытывается Боря Цветик.

— Перед нами оне! — указывает невеста всей дланью.

И те, на кого направлена ее длань, сильно конфузятся. Он в новенькой твердой шляпе, сухая жилистая шея торчит из накрахмаленного воротника сорочки, взрытые глубокими морщинами щеки, выцветшие глаза. Она — кургузенькая старушка, сильно робеет, смотрит в землю, не знает, куда спрятать свои натруженные руки.

— Тоже нужно! — роняет презрительно телесистая невеста. — Спыхватилися.

И сконфуженный жених крутит жилистой стариковской шеей, оправдывается:

— Да коли б не нужда, зачем нам срамиться. Двадцать лет, считай, прожили вместе и не замечали, что в незаконном браке. Теперь вот я остарел, хворать сильно стал, помру, ей даже пенсии не дадут, а родня моя уж постарается — из дому живенько выживет. Она у меня видите какая, за себя не постоит, без угла и без куска хлеба останется. Конечно, совестно нам с молодыми-то вместе... Но мы вас долго, поди, не задержим. Нам торжественные речи говорить не будут и шампанское пить тоже...

— Будут! Положено! — возражает невеста и внушительно пошевеливает дюжими плечами, овечьими прозрачной фатой.

— Тогда что ж... Потерпим, не такое терпели.

Майя слушает, озирается, пугливо взмахивает ресницами. Мне она кажется особенно беззащитной в своем столь нелепом для городской улицы свадебном наряде. Смущаюсь вместе с ней, страдаю за нее, но не могу взять за локоть и увести от всех, чтоб по-прежнему — с глазу на глаз. Положено. Перетерпим, не такое терпели.

Неожиданно среди брачных групп появляется странная фигура — оплывшая лиловая небритая физиономия, выбеленные глаза, замусоленная кепка, пиджак застегнут на одну пуговицу так, что одна пола выше другой, отчего новоявленный кажется перекошенным. Он нетвердо держится на ногах, покачивается, руки глубоко запущены в карманы штанов, небритый подбородок высоко задран, вызываясь ловит направленные на него взгляды

своими бесцветными глазами. Собравшиеся, изнывающие от безделья, прекращают разговоры, поворачиваются, наступает тишина.

— Что?! — при общей тишине и внимании изрекает наконец фигура сипло и зловеще. — Чего смотрите, спрашиваю?.. Нравлюсь?.. Нет! И знаю, знаю, не могу нравиться! Безоб-разен! Да!.. А кто виноват, спросите? Кто довел Серегу Кирюхина до жизни такой?..

Перекошенная фигура, покачиваясь, выдерживает значительную паузу и патетически гроыхает:

— Жан-на!.. Слышите, братья женихи... жан-на меня довела до безобразия, чтоб ей провалиться!.. Братья женихи! Вот вы стоите теперя возле своих невестушек... Лебе-ди белы-я-а!.. — Тугой грязный кулак вырывается из кармана и возносится над головой. — Ведьмами станут!! Ужо вам, ужо, братья женихи! Сбросят оне белые перья и кровь вашу будут пить! Изо дня в день, из года в год — и не устанут, не-ет! Тошно вам будет и больно, братья женихи! Ох, тошно! А стонать не смей! Стонать она станет! И жаловаться не смей — пи-ни! Она будет стонать и жаловаться... Спрятаться захочете, братья женихи, не выйдет! Закон не позволит, под землей найдут!.. На казнь идете сейчас! На лютую! Нету зверя страшней, чем жан-на! Бегите, покуда не поздно, братья женихи! Сломя голову!.. Взгляните на безобразного Серегу Кирюхина и бегите от невест, покуда не поздно...

Тяжелый кулак гулко стучал в перекошенную грудь, в оплывшей щетиистой физиономии — величавость страстотерпца, вещающего великое откровение.

— И чего это глядят?! Безобразие полное! — первой вознегодовала дюжая невеста. — Милицию сюда!

— Мил-ли-цию! — всем перекошенным телом повернулся к ней страстотерпец и на секунду остолбенел. — Эва! А за энту-то кто идет? Кто энто себя так не жалеет?.. Энта даже лебедиными перьями не покрыта... Уж она сразу... Да!.. Живьем! С косточками!..

— Милиция! Милиция!

— Кто жених ее?.. Беги-и... Ой, беги-и!..

— Ми-ли-ци-ия-а!! — визжала невеста.

— Братья женихи, разбегайтесь! Поздно будет!..

И вырос отдувающийся, до красноты сердитый милиционер.

— Ты опять за свое?

— Опять! — гордо ответил неуверенно стоящий на ногах страстотерпец. — За правду стою!.. Спасая!..

— Безобразие! Налил зенки и оскорбления разные... Сюда, люди, можно сказать, за счастьем пришли...

— Гражданочка новобрачная! Не надо никаких!.. Нам он уже известен!

— За правду! За святую правду готов хоть на смерть!..

— А известен, так почему мер никаких?.. Полное безобразие! Такого из тюрьмы выпускать нельзя!..

— Тихо, гражданочка новобрачная, тихо! Пошли, Кирюхин. Ну, будет теперь тебе...

— Братья женихи! За вас...

— Пошли, пошли!

— За вас страдаю!

— Давай, страдалец!

— Братья! Задумайтесь, все девки хороши...

Милиционер, ухватив страсотерпца за шиворот, тащил от брачующихся, а тот продолжал вещать:

— Все девки хороши, откуда плохие жены берутся? Задумайтесь-а-а!..

Уже издалека, уже со стороны.

У Майи бегающие глаза, затравленное лицо, она прижималась к матери, я беспомощно переминался.

— Хулиганов расплодили... Даже тут все испортят...

Негодовала только дюжая невеста, остальные неловко молчали и переглядывались.

В гостеприимно распахнутых дверях загса появилась пара — знакомые старички молодожены. Они застенчиво улыбались.

— А нас уже... Торжественных речей не говорили. Но все вежливо, с пониманием...

— Сенечка! — объявила дюжая невеста. — Наша очередь!

Долговязый парень с неподвижным, деревянным лицом, в пиджаке коробом вздрогнул, огляделся и вдруг повернулся, зашагал прочь от загса.

— Куд-ды-ы?! — вопль в спину с опозданием.

Парень не обернулся — вздернутые острые плечи, упрямый затылок, шаг с прискоком.

— Се-неч-ка-а!!

Сенечка уходил.

— Подлец!! Прохвост!! Сволочь!! Намиловался!! Отъелся у меня. И в сторону!.. Держите его! Держите-те!!

С невестой началась бурная истерика.

Боря Цветик негромко произнес у меня над ухом:

— Кажется, наша очередь подошла.

Свадебный вечер проходил в лучшем ресторане города «Золотой колос». За длинным столом в банкетном зале было тесно. Какие-то Майины тети и дяди, специально прилетевшие из Воронежа. Какавая-то родня по матери из совхозного поселка Конево. Кто-то из крупных строительных воротил города — пожилые и степенные люди со снисходительно-добродушными начальственными физиономиями. Ответственные работники помельче, не слишком пожилые и степенные, с откровенным усердием налегающие на коньяк и закуску. Их жены, с умилением поглядывающие на Майю и с оценочным любопытством на меня. Несколько чопорных вытуженных офицеров. Басисто-шумный седой генерал-майор, старый приятель Майиного отца. Застенчивые Майины подружки, школьные и институтские... Из всего застолья я знал лишь Борю Цветика да бойкую Леночку из Комплексного. И еще, разумеется, Майиных родителей — Ивана Игнатьевича, сменившего почему-то внушительный военный мундир с полковничьими погонами на штатский невзрачный костюм, и Зинаиду Николаевну, потерянно улыбающуюся, с материнской тоской в глазах.

У меня же родни — одна мать, и та далеко, не осмелился вызвать. Зато друзей слишком много — все сотрудники нашей лаборатории, есть и помимо них, рассеянные по институту. Не мог же я привести на свадьбу всех скопом, а сделать выбор, кому-то отказать — значит, обидеть. Я пригласил лишь Бориса Евгеньевича с женой, которые были уже моими свидетелями при регистрации в загсе. Жениховская сторона оказалась в явном меньшинстве.

Но Борис Евгеньевич решил, однако, заявить о себе, встал с бокалом — прямой, с внушительно сияющим черепом, на аскетической физиономии привычное властно-профессорское выражение, требующее от аудитории тишины и внимания. И звон вилок о тарелки, перекатный разговор прекратились, все головы выжидательно повернулись в его сторону.

— Дорогие друзья! — начал не без важности Борис Евгеньевич. — Вот я гляжу на родителей невесты и вижу, что нет для них выше желанья, чем счастье дочери. Поверьте, так же по-родительски сильно желаю и я счастья жениху. Я в него вложил свои знания, свою душу, смею считать его своим творением. Им счастья... Но его не будет, если не будет между ними уважения друг к другу.



Кто из нас, поживших и знающих, что такое семья, не сталкивался с отсутствием уважения? Кто из нас не задавался вопросом: как его обрести? И лично я осмелюсь тут дать лишь практический совет: соперничайте друг перед другом в уступках! Он уступает ей, она — ему, за счет себя, своего «хочу», «мне нужно», «мне нравится»... Павел Крохалев, мой ученик! Я пью сейчас за то, чтоб для тебя ее желание было важнее своего! В этом я вижу секрет твоего счастья!

За столом поднялся пьяный одобрителный шум, впрочем, столь же воодушевленный, как и после других тостов. Майина мать промокнула платочком слезы, а отец ее вскочил с места, чтоб чокнуться с Борисом Евгеньевичем, и не успел...

— Утопия! — раздался авторитетный бас.

И все дружно снова притихли.

Совершив некоторое усилие, поднялся седой генерал-майор, плотно-приземистый, слегка нахмуренный, уже изрядно краснолицый.

— Утопия! — решительно повторил он. — Он ей уступочки, она ему, да ведь когда-нибудь у кого-то и защежит, пойдет тогда карусель. Нет, и в семье единая воля нужна. Да! Авторитет! Без авторитета как в семье, так и в государстве кар-ру-сель! Не делу учите, профессор!

Борис Евгеньевич двинул в усмешке жесткие морщинки.

— А вы не путаете, генерал, семью или даже государство с армейским подразделением?

— И путать тут нечего. Где сходятся люди, там должен быть порядок, а не анархия. И даже если людей всего-навсего только двое, то и тут без порядка не обойтись. А где порядок — там дисциплина, где дисциплина — там старший. Элементарная логика, товарищ профессор!

— Завидую вам, генерал, так все ясно и просто у вас. И... элементарно.

— А я вам удивляюсь — предложить вместо жизненной позиции игру в поддавки.

Назревало неприятное сражение, в котором навряд ли бы Борис Евгеньевич вышел победителем, но вскочил Боря Цветик, исполнявший обязанности тамады.

— Дорогие гости! Дорогие гости! Совершенно упущение! Мы пили за родителей невесты, но сторона жениха нами обойдена. Предлагаю за здоровье, так сказать, духовного отца Павла, за профессора Лобанова!..

Все облегченно зашумели, сутолочно зашевелились,

потянулись к бутылкам. Секунду генерал стоял хмурясь, затем решительно поднял рюмку, потянулся к Борису Евгеньевичу.

— Наше несогласие на мое уважение к вам не влияет. За ваше здоровье, профессор!

Борис Евгеньевич церемонно встал, они чокнулись, мир был восстановлен.

Рядом со мной пунцовела щека Майи, настороженно блеснул глаз.

Случись схватка, я бы, конечно, не задумываясь, встал на защиту учителя грудью. Но что-то вызывало сомнение у меня в совете, что-то пока неуловимо смутное. Быть может, то, что сам Борис Евгеньевич, так хорошо знающий секрет семейного счастья, сам особо счастливым семьянином, увы, не был. Первая жена ушла от него, когда он был еще безвестным аспирантом. Второй раз он женился, уже будучи профессором. И я никогда не мог понять, доволен ли он в новом браке. Его Анастасия Андреевна была женщиной уравновешенной и домовитой, она ревниво следила, чтоб муж ходил в выглаженных сорочках, не был лишним раз потревожен телефонным звонком. Но ни разу в жизни она не перешагивала порога института, навряд ли представляла себе, чем занимается ее ученый супруг. И конечно же для Анастасии Андреевны его желание было всегда важнее своего собственного, а для Бориса Евгеньевича — как сказать. Похоже, никогда и не выдавался случай проявить благородство — уступить.

Анастасия Андреевна сидела сейчас здесь, за столом, рядом с Борисом Евгеньевичем, озиралась с тревогой и затаенным страхом.

Мы вернулись домой.

Лежал коврик на полу у тахты — центр незримой гармонии, олицетворение уюта.

Майя в пальто поверх длинного белого свадебного платья опустила на тахту и долго оглядывала потемневшими глазами комнату, наконец произнесла:

— Вот и все.

— Начнем жить, Майка, — сказал я.

Она подняла на меня провально-темные глаза.

— А как это делается?

Вот те раз! Совсем недавно с пылающим лицом — которому нельзя не верить! — Майя клятвенно возвестила мне, что ей открылись наши судьбы.

И я неуверенно решил напомнить:

— Но, Майя, ты же говорила...

— Я говорила, Павел, верю!.. Ох, как верю! Но вот как?.. Как это «верую» сотворить? С чего начать? За что зацепиться?.. Вдруг поняла, что не знаю.

Я молчал, я тоже не знал.

— Твой Борис Евгеньевич сказал хорошие слова, добрые, но... Мне иногда придется настаивать — хочу так, а не иначе. Если я стану во всем уступать, во всем с тобой соглашаться, то что я тогда?.. Твой скучный придаток, Павел, без лица, без характера.

— И прекрасно, не уступай! — согласился я. — А я попробую следовать совету Бориса Евгеньевича — твои желания дороже своих!

На этом и порешили.

Было давно за полночь, начались первые сутки нашей семейной жизни.

## 7

На следующий день, где-то в двенадцатом часу, в дверь раздался звонок. Первый гость в нашей семье! Я кинулся открывать.

Рыжеватая, не очень опрятная борода, брезентовая рабочая куртка, слишком просторная на узких плечах, — я сначала и не узнал: Гоша Чугунов, с которым мы не виделись больше года. Борода с сивым мужицким отливом успела вырасти за это время на его подсушенном курносом лице вечного студента.

— Проходи, — пригласил я.

В последний раз мы расстались довольно-таки прохладно, никак не друзьями, хотя и до врагов, кажется, дозреть не успели...

— Я искал тебя, старик, в институте. И вот сказали, что...

Тут вышла Майя в халатике, со всклокоченными волосами, но свежая, с утренним блеском в глазах. Впервые на Гошиной физиономии, сейчас полузакрытой бородой, я увидел растерянность.

— Это тот самый Гоша Чугунов... А это Майя... Моя жена.

Гоша склонил волосатую голову, шаркнул ногой, Майя протянула ему руку.

— Выдать секрет, как он вас мне рекомендовал?

— Наверняка нелестно.

— Почему же?.. Мирным анархистом! Вполне интригующе.

Они много слышали от меня друг о друге, но встретились впервые.

— Проходите в комнату. Я сейчас приведу себя в порядок, выйду к вам,— сказала Майя.

— Она очень красива,— объявил Гоша, когда мы вдвоем уселись на тахте.

Я промолчал, меньше всего я хотел выяснять с ним качества Майи. Гоша никогда просто не высказывал свои впечатления, за ними непременно шли обобщения и выводы, какими он украшал свою жизнь. Чтоб Майя стала поводом для подозрительных философствований — нет, не выдержу.

Однако отмалчиваний он не терпел больше, чем возражений,— пророк по призванию, живущий слушателями, мог ли он сдержаться и не выложить, что просилось наружу.

— Это сирена, топящая людей в житейском омуте.

— Как понять? — спросил я с приглушенным вызовом.

— Тебе придется ей служить.

— А если я скажу: готов это делать?

Он хмыкнул в бороду.

— Служить-то придется не самой богине. Она, право, этого достойна... Но платьям, которые она пожелает часто менять, коврам, по которым будут ступать ее ноги, картинам в золоченых багетах, которые захочет она иметь на стенах. Тобой станут повелевать вещи, старик.

— Тебе не кажется, что ты слишком мало знаешь ее, чтобы предсказывать мне, чего именно она в будущем пожелает?

— Я ее увидел, а этого вполне достаточно, чтоб представить, какая оправа нужна столь драгоценному камню.

— Записной оригинал, ты теряешь свою оригинальность, рассуждаешь самыми избитыми шаблонами.

— Я всегда говорю банальные истины, старик. И одна из таких банальностей: любая женщина — носитель рабства уже потому, что навешивает семейные кандалы.

— Интересно знать, ты сам появился на свет вне семьи? Был подзаборным подкидышем?

— Я родился в самой что ни на есть бюргерской семье, где фарфоровые слоники на комодке олицетворяли уют.

— Ну и слава богу, а то я чуть было не проникся к тебе жалостью.

Рабочая заношенная брезентовая куртка и брюки то-

же рабочие, протертые, с чужого зада, но рабочим этот человек никогда не был. Не из тех, чьим трудом пользуются, с кого много берут, мало дают, общество просто не способно обидеть его. Потому он и считает себя полностью независимым, гордится своим положением — ни пава, ни ворона, видит свой святой долг в обличении тех, кто на него не похож. А не похожи-то любой и каждый.

Первый гость в нашей семье, и, ничего не скажешь, чуткий, сразу же объявил: твое счастье — рабство! Родной брат вчерашнего пьяного страсготерпца: «Берегитесь, братья, своих жен!»

8

После встречи в привокзальном ресторане я раздобыл раскладушку, и Гоша поселился у меня.

Он был убежден, что людям, даже не очень добрым от природы, приятно тем не менее делать посильное добро, а потому ему и в голову не приходило, что он может стеснить. Впрочем, он и в самом деле не стеснял меня — ушел утром, приходил поздно ночью, сытый, довольный собой, не растративший всего запаса красноречия, готовый, если я выражу желание, наставлять меня всю ночь напролет. Это была кошка, которая гуляет сама по себе.

Насколько легко было с ним познакомиться, настолько трудно стать его товарищем, а уж другом закадычным и тем паче. Для дружбы как-никак нужна если не самоотверженность, то хотя бы какая-то отдача. Он же умел только принимать, что дают, взамен же предлагал одно и то же — свои взгляды на мир и на жизнь. Не навязывал их, нет, не хочешь, не бери, тебе же хуже.

Он быстро узнал все рестораны и забегаловки города, пропадал только в них, но ни разу не приходил навеселе, всегда лишь приподнято-трезв.

— Я люблю подвыпившего русского человека, — признавался он. — Подвыпившего, но не скотски пьяного. Подвыпивший обычно становится чутким до жертвенности, он тогда возвышенно ненавидит и возвышенно любит.

Застольные собеседники, судя по его рассказам, быстро раскрывались перед ним, искали у него сочувствия, но не находили и, странно, не только не обижались, а даже чувствовали себя виноватыми.

— Только и делают, что жалуются мне. А если разо-

браться, жалобы людей не стоят выеденного яйца — квартиру не дали, пенсию не выплачивают, на работе неприятности. Тут-то я и объясняю им, как все это ничтожно, не стоит того, чтоб портить себе кровь. Что, например, квартира, как не обворовывание себя? Еще Чехов давно сказал: человеку нужен весь земной шар. А все бьются, из кожи вон лезут, чтоб получить крохотный кусочек, в десяток-другой квадратных метров. А уж раз получил, то будь привязан к нему всю жизнь. Кош-ш-мар-р!

А потому он пользовался только чужими квартирами.

— В наши дни, учти, силой никого не берут в рабство. Стать рабами усиленно стремятся. Да, добровольно! Рабом в наши дни быть проще и уютнее. Свобода — это открытый океан, где продувает со всех сторон, а иногда и сильно качает. Выдерживают немногие.

К числу этих немногих, для кого свобода по плечу, он относил себя. Я же в его глазах — пет, не рвач, не хапуга, обычный раб, работяга с дипломом высшего образования, отравленный обывательскими предрассудками добрый малый.

Я пробовал выяснить у него, что, собственно, такое свобода. Сам я придерживался общеизвестного — осознанная необходимость, — но Гоша отвечал с обезоруживающей простотой:

— Я не теоретик, я практик. Иду туда, где ею пахнет.

Мы ночевали бок о бок, беседовали едва ли не каждый вечер, но не сближались, напротив, ночь от ночи мы становились все более чужими. Получалось, первое знакомство в привокзальном ресторане и было пределом нашего сближения, дальше нечто невразумительное. Он этого не замечал — привык жить в окружении случайных встречных.

Я провел полжизни в общежитиях и всегда там ронялся с людьми, неизбежно находились общие мысли, общие взгляды, одни стремления. Да и будущее, как правило, нас ждало одинаковое. Тут же мы не жили, а присутствовали друг возле друга.

А как раз в то время у меня шло быстрое сближение с Майей, и во мне бурно росло счастливое желание выглядеть в ее глазах красивым и значительным. А значительным могу выглядеть лишь тогда, когда это признают не только она одна, а все, кто окружает меня. Майя, сама того не подозревая, вызывала во мне великую ответственность перед людьми. И рядом со мной человек кичился ничем не связан, никому ничего не должен, довольствующься

малым, независим, свободен! Свобода, замешанная на безразличии к другим.

Рано или поздно между нами должно было произойти объяснение. И оно произошло.

Он в очередной раз объявил:

— Я не приобрел себе даже свежевывмытой сорочки.

Я заметил:

— Почему ты должен иметь чьим-то трудом созданную сорочку, если сам не дашь ничего взамен — ни горсти хлеба, ни кирпича?

— Я даю нечто большее, старик.

— Что?

— Открываю людям глаза на себя.

— Для этого пужно разбираться в людях.

— Ты считаешь, что я в них не разбираюсь?

— Ты даже в самом себе не разбираешься.

Невозмутимость была его оружием.

— Во мне нет ничего сложного, старик, — ответил он с достоинством, — я весь как на ладони, ничего не спрятаю.

— Спрятано.

— Например?

— Мизантропия.

Невозмутимость — его оружие, но тут оно ему изменило. Он посерел и уставился на меня.

— Такими словами не бросаются, — наконец выдавил он.

— А давай порассуждаем. Твой принцип: буду посить отрепья, питаться черствым куском доброжелателей, но не свяжу себя никакими обязанностями. Так?

— И где же тут мизантропия?

— Надо быть не просто равнодушным к людям, надо их глубоко презирать, чтоб отказывать — пальцем ради вас не пошевелю. Любой обыватель, заботящийся о собственном брюхе, тут отзывчивее к людям, он хоть о семье заботится, клубничку для продажи выращивает на огороде, а ты — никому ничего! Себя обделю, лишь бы другим от меня не перепало. Откуда у тебя такая фанатическая нелюбовь к людям?

Лицо Гоши стало изрытым, вздернутый нос заострился.

— Я люблю людей не меньше тебя, — сказал он глухо.

— Прикажешь верить на слово? Чем ты доказал любовь?

— Любовь не нуждается в доказательствах!

— Вот те раз! — удивился я. — Ничто так не нужда-

ется в доказательствах, как любовь. Даже простенькую симпатию, чувство по сравнению с любовью неизмеримо более мелкое, и ту докажи, хоть небольшим — добрым словом, мелкой помощью. А в любви, извини, малым не обойдешься, последнее отдай, собой жертвуй.

— Я и жертвую!

— Тепленьким местечком, квартирой, зарплатой — это ты снова хочешь выставить себе в заслугу?

— Хотя бы.

— Тепленькое местечко и зарплату надо как-то оправдать трудом, даже квартира требует забот, но для тебя и это обременительно, даже тут придется насиловать себя. Не лги, что жертвуешь, не выдавай паразитизм за жертвенность!

Он стоял посреди комнаты, долговязый, натянутый, со вздернутой головой, с серым постаревшим лицом, с вищящими руками.

— Похоже, мы не можем жить вместе, — выдавил он.

— А мы вместе и не живем. Рядом — да, но не вместе.

— Спасибо за приют, я уйду.

— Разумеется, унося оскорбление?

— Разумеется.

— Что ж ты раньше-то не оскорблялся? Ты же знал, что я не разделяю ни твоих взглядов, ни твоего образа жизни. Я лишь произнес вслух, что тебе было уже известно. Выходит, откровенность оскорбляет, а неискреннее умалчивание — нет.

Он не отвечал.

— Уходи, — сказал я. — Не держу. Но не делай оскорбленных пасов.

— Прощай, — он двинулся к двери.

— Я бы на твоём месте все-таки постарался ответить на «мизантропа». Упрек страшный, с таким грузом не уходят.

Он от дверей оглянулся на меня круглыми остановившимися глазами, дернул плечом, вышел, хлопнув дверью. Благо не нужно было ему собирать чемодан — все свое ношу с собой, как говорили, древние римляне.

С тех пор у него успела отрасти борода, но улыбка осталась прежней — подкупающе открытая — и прежняя бесцеремонность: «Сирена... Навешиваешь на себя канда-



ды, старик!» Философия петуха, увидевшего жемчужное зерно.

— Тебе что-то от меня нужно? — спросил я.

— Хотелось бы вернуть тебе старый долг.

— Ты мне ничего не должен.

— Должен! Помнишь, ты мне навесил на шею «мизантропа»?

— За это время тебя что-то осенило?

— За это время многое произошло.

— Ты переменялся?

— Я переменялся, и люди вокруг меня теперь иные.

По забегаловкам больше не хожу, подвыпивших не ублажаю.

— Уж не сменял ли шар земной на оседлое место?

— Нашел себе опору, помогаю другим найти ее.

— И как она выглядит, эта опора? — осведомился я.

И тут легкой поступью вошла Майя, причесанная, розовая, в белой кофточке, красной юбке, тонкая, как оса, с сияющими глазами и повинно-скорбящей улыбкой на губах. Каждый раз неожиданная для меня, ошеломляющая.

Гоша Чугунов расправил плечи, вздернул вскосмаченную бороденку, уже не мне, а Майе ответил с вызовом:

— Опора — бог!

Майя с любопытством уставилась на него, помятого, пыльного, волосатого.

— Вон куда тебя кинуло! — удивился я.

— К людям! — объявил Гоша.

— Почему вдруг таким сложным кульбитом — через небо и бога на землю, к людям? Покороче путь выбрать было нельзя?

— Короткого пути в душу человеческую нет.

Я невольно поморщился. У меня всегда возникало чувство корящей неловкости за тех, кто афиширует свое посягательство — ни меньше ни больше — на человеческую душу: познать, открыть, полюбить, найти к ней путь! Умилительная детская самоубежденность, нечто вроде: достану луну с крыши. Постигну, что на протяжении всей истории пытались совершить и отчаивались в бессилии лучшие умы человечества.

— И что ты станешь делать в этой человеческой душе? — спросил я.

— Попытаюсь ее, чужую, превратить в братски мне родственную, — ответ с ходу, не задумываясь.

— То есть перекроить на свой лад. Ты так убежден, что именно твоя душа совершенней других?

Гоша покровительственно ухмыльнулся в бороду.

— Я вовсе не предлагаю себя за образец.

— А кого? Бога-то за образец не предложишь — не постижим!

Ухмылка утонула в бороде, глаза посерьезнели, ноздри короткого носа дрогнули, Гоша заговорил:

— Мы все во что-нибудь верим. Одни во многообещающие газетные передовицы, другие, что добьются высокого кресла, третьи — в диплом института, который откроет им дорогу. У каждого своя маленькая вера. Миллионы людей — миллионы вер! И после этого мы еще удивляемся, что не можем понять друг друга: чужая душа потемки! Да ипаче и быть не может. Верим в разное, ничего нет такого, что нас объединяло бы. Меня с тобой, тебя со мной!..

Убежденность со сдержанным пафосом, слова взвешены, интонации вытренированы, явно не в первый раз говорит на эту тему. И не нам первым.

— Можешь ты заставить меня верить в твое? — продолжал Гоша в мою сторону. — В агрохимию, которой ты собираешься осчастливить мир! Да нет, не получится. Во-первых, я несведущ в твоей науке, во-вторых, не универсальна, на все случаи жизни не подходит. Нам обоим надо найти универсальное, единое, одинаково приемлемое как для тебя, так и для меня!

— Бога?..

— Вот именно!

— Он давным-давно найден.

— Давно найден, да его постоянно теряли. Потерян и сейчас. Отыщи снова, вооружись верой в него, прими то божеское, которое известно уже на протяжении тысячелетий: люби ближнего, не убий, не лжесвидетельствуй... Вместе с тобой вооружимся, вместе поверим, станем следовать этому, и тебе не придется остерегаться меня. Мы верим одному, а значит, верим и друг другу. Что это, как не духовное братство? Ты хочешь его? — Гоша дернулся в мою сторону всклокоченной бороденкой, не дождался ответа, дернулся в сторону Майи. — Вы хотите братства?

— Да, — решительно произнесла Майя.

Она стояла, прислонившись к стене, не сводила глаз с вдохновенного Гоши. И в глазах тление, и в губах смятенный изгиб. Кому-кому, а мне известно, как может быть

доверчива Майя и как способен подкупать Гоша при первом знакомстве.

— Братство через бога?.. — переспросил я. — Тогда верующее в бога население, скажем, Италии должно бы быть братски сплочено более нас? Увы, там — как и всюду.

— Назови мне другое, что сплотило бы людей.

— Не много ли ты от меня хочешь? Назови универсальный рецепт спасения человечества.

Гоша холодно отвернулся от меня.

— Я и не рассчитывал, что ты мне поверишь.

— Тогда, извини, не пойму, что все-таки от меня хочешь?

— Ты назвал меня мизантропом... Не поленись прийти по адресу: Молодежная, сто двадцать семь. Мы собираемся по воскресеньям в три часа дня.

— Кто это мы?

— Единоверцы.

— Что-то вроде секты?

— Пусть будет так. Приди, послушай, реши, совместно ли с мизантропством, что я делаю.

— Мы придем, — сказала Майя. — Молодежная, сто двадцать семь. Запомнила.

Раз Майя сказала, так оно и будет. Мне осталось только согласиться.

Гоша распрощался и ушел.

Майя была тиха и озадачена.

— Он очень худ и плохо одет.

— Это предмет его гордости, — ответил я.

— Почему ты к нему так относишься?

— От досады на себя, Майка.

— Как понять?

— Думал — самородок, а оказалось — булыжник.

Майя задумалась.

— Знаешь, — проговорила она, — мне он напоминает Дон Кихота, подстричь бы его бородку клинышком да пасть на голову медный тазик.

— Пожалуй, он и внутренне похож на этого рыцаря.

— И относишься к нему с... неприязнью?

— Скорей с осуждением.

— Но Дон Кихотом-то все, все восхищаются. И вот уже несколько веков подряд!

— То-то и удивительно — все, кроме одного.

— Тебя или есть еще кто другой?  
— Сервантес. Он же издевался над своим героем, и никто этого почему-то не замечает.

— Сервантес симпатизирует, не издевается!

— А давай вспомним. Дон Кихот встречает преступников в кандалах — насилие, мол! — освобождает их. А какой результат?.. Преступники избивают его и, нет сомнения, пойдут дальше грабить и насильничать. Благородный рыцарь усугубляет насилие. Или знаменитый эпизод с ветряной мельницей. Тут-то за что симпатизировать? За то, что проявил высшую степень глупости? Сервантес издевается, но с доброй иронией. Да вздумай он всерьез возмущаться своим деятельным дураком, поставил бы себя на один с ним уровень.

— Дон Кихот чистосердечен, а чистосердечие и зло несовместимы.

— Еще как совместимы. Разве не чистосердечно миллионы немцев славили Гитлера, верили ему?

Майя озадаченно помолчала, наконец подняла на меня свои глаза, губы недоуменно дрогнули.

— Одно из двух — или ты прав, или весь мир. Кому же мне из двоих верить?

— Мне, Майка, мне!

Она засмеялась.

— Какой мне муж попался — умней всего мира!

Кончилось ее смехом. Гоша был забыт.

Через полчаса мы шли по улице к ее родителям.

Мы шли по улице, а она жила дневной, шумной, карусельной жизнью. Расплавленное солнце висело над нами, утюжили мостовую тяжелые грузовики, с треском распарывая бензиновый воздух, неслись мотоциклисты, вальяжно плыли осиянные стеклом автобусы. Газетный киоск, пестро украшенный обложками неходовых журналов, как птиц, выпускал из себя в нетерпеливую очередь газеты, они всплескивали белыми просторными крыльями и исчезали.

Наш город — родина Майи. Бетонная, однообразно величавая современность, утопившая в себе незамысловатую старину, он, наш город, служит промышленности, он вечно строится, не устает кричать моторным рыком. Он не богат живописной зеленью и не славится редкостной ар-

хитектурой, в нем много труб и мало памятников, столичные моды на улицах и провинциально скудная культура — картины висят только в ресторанах и ни одного концертного зала. И центральные утренние газеты приходят к нам лишь в полдень.

Наш город — для Майи родина, для меня — доброе отечество. Этот город принял меня, выучил меня, признал меня как ученого, без нежности обласкал, без сочувствия обнадежил. И я благодарен своему городу, люблю его.

Мы шли знакомыми улицами локоть к локтю, плечо в плечо. Бывают же минуты, когда чувствуешь себя центром вселенной: грудь распирает, тело невесомо, ноги упруги, оттолкнись — полетишь! И нельзя согнать глупой, широкой до усталости улыбки с лица. А как несет голову Майю! И скорбную складку губ тоже тревожит улыбочка...

Не в первый раз удивляюсь: как в нашем суровом, бетонном, копотном городе могла родиться она? Возможно ли? Не чудо ли это?

Мы шли по улице, и у встречных менялись лица. У мужчин появлялось — у тех, кто постарше, — остолбенелое выражение, помоложе — изумление: «Вот это да!» А женщины невольно начинали улыбаться, как и мы, с той же блаженной радостью. И спиной я чувствовал, как оглядываются нам вслед.

Никогда я не воображал себя красивым, лишь сейчас впервые в жизни — высок, плечист, полон сил, походка победная, под стать во всем Майе. И счастливый — всем до зависти!

Это счастье родилось невольно, оно подарено Майей. Да и бывает ли вообще счастье единорожденное, нутряное? Нет, оно приходит всегда извне — от обмытого дождем листа дерева, от глубокого неба, от содержимого чашечки Пэтри на лабораторном столе и от человека... С людьми чаще всего сталкиваешься, от людей большей частью идет к тебе и счастье и горе. А особенно от тех, кто тебе всего ближе и дороже.

На улицах мы видели лишь добрые лица, искренне изумляющиеся, искренне улыбающиеся, но в автобусе, в котором решили проехать три остановки, наткнулись неожиданно на откровенную злобу. Старик в шляпе, щеки впали, тонкие губы в ниточку, глаза мутно-зелены, долго пялился на нас и не выдержал, зашипел:

— Остолопы смазливые, жареный петух вас в зад не

клянул. Покрасуйтесь, покрасуйтесь, покуда вам крылышки не прижгет. Загорчитесь... Хе-хе!..

Этот человек был настолько несчастен, что уже не мог без ненависти видеть чужое счастье. Усох от ненависти, источен проказой недоброжелательства, еще не так уж и стар, но долго не проживет.

Нет, ответной ненависти я не испытывал — отвращение и жалость. И еще панический страх за свое счастье. Оно слишком ярко и неправдоподобно, чтоб длиться долго. Жареный петух в зад не клюнул...

На минуту было испорчено настроение. У Майи сразу стало замороженным лицо, а губы увяли.

Испорченное настроение исчезло, как только мы вышли из автобуса под горячее солнце, на суетную доброжелательную улицу. Снова под ресницами Майи заблестели глаза.

А я вспомнил — не провожаю Майю, как было прежде, чтобы расстаться до новой встречи, не расстанемся ни сейчас, ни вечером, ни завтра, ни через год. Встреча на всю жизнь! И от этого открытия даже закружилась голова, шумно-карусельная улица вместе с многоэтажными домами, расплавленным солнцем стала подниматься и опускаться, как на волне.

Знакомый Майин двор, тенистый, прохладный, пахнущий мокрой землей, только что политой травой и... собаками. Подъезд с оскорбительно невыразительной дверью. Финиш сказочного путешествия мог бы выглядеть впечатляюще.

Мы поднялись по лестнице, на пороге нас встретили Майины родители. Они, похоже, едва ли не час толкались под дверью, прислушивались, не раздадутся ли наши шаги.

Вечером встреча с Гошей Чугуновым мне казалась далеким прошлым, почти стершимся из памяти, постороннее событие для этого бесконечного, ослепительно солнечного дня.

Но Майя, оказывается, ничуть не забыла, собираясь в ванну, спросила меня:

— Помнишь этого в автобусе?

— Охота тебе вспоминать погань.

— Мне интересно знать, почему ты тогда смолчал?

— Я богат, он обездолен. Мне с ним сражаться — да смешно.

— Он не обездолен, он испорчен. От природы, с дет-

ства — пасквозь. Скажи уж лучше, не хотел связываться, и мне будет это понятно.

— И связываться тоже. Но я... в самом деле испытывал к нему жалость.

— А почему к Гоше Дон Кихоту в тебе нет такой великодушной жалости?

— А разве ты не заметила разницы — один лежачий, другой чувствует себя на коне. И не я же, он первый мне бросил перчатку. Я просто принял вызов, Майка.

Ее темные глаза стали матовыми.

— Ты с сюрпризами,— сказала она задумчиво.— То воюешь с благородством, то прощаешь погань. И умней всего мира... без стеснения. Странно.

После такого счастливого дня! И чего это вдруг она? Ну, никак не понять.

Я почему-то в мыслях не допускал, что и сам для нее выгляжу тревожной загадкой: «Ты с сюрпризами...» Также ведь как понять?..

## 11

В воскресенье мы отправились к Гоше Чугунову. Мне и самому было любопытно: как чудит этот человек, вчерашний философ местных забегаловок, ныне новоявленный пророк?

Майя надела красную юбку и белую кофточку, в которых в прошлый раз встречала Гошу Чугунова. Наряд, обычный для городских улиц, но не будет ли он вызывающе кричащим среди верующих, где даже пророк-вдохновитель носит мятую рабочую куртку?

Молодежная улица начиналась в новом районе пятиэтажными, уныло стандартными домами. Они резко обрывались, и асфальтовое шоссе дальше шло мимо палисадничков с калиточками, бревенчатых стен с мелкими оконцами, крашеных наличников, кособоких сараев, тесных верандочек, крыши под ржавым железом и дырявым шифером, шестов с потемневшими скворечниками и телевизионных антенн. Тихий пригородный угол, которому осталось уже недолго жить — через несколько лет дома из бетонных плит втопчут в землю старые крыши, сарай, верандочки, встанут на их место.

Дом сто двадцать семь ничем не отличался от других домов, такая же перекошенная калиточка, такая же, как у всех, телеантенна на крыше и пыльные кусты отцветшей сирени.

Нас никто не встретил, если не считать собаки на цепи, с ленивой обязанностью тявкнувшей раз-другой из своего угла.

Длинный стол с самоваром, люди над расставленными чайными чашками в чинной посадочке только что собравшихся гостей, еще не успевших освоиться друг с другом. Всем места за столом не хватило, многие расселись по стенам.

К нам быстрым и решительным шагом подошел молодой человек — отутюженный костюм, белая сорочка, широкий цветастый галстук, лицо приятное. Он не спросил, кто мы и зачем, радушно пригласил:

— Прошу, братья... Здесь два свободных стула.

Мы уселись в простеночке между окнами, и я увидел Гошу Чугунова. Он пил чай из большой чашки и о чем-то беседовал с грузным лысым мужчиной, по-домашнему одетым, по-домашнему озабоченным. Заметив нас, Гоша коротко кивнул нечесаной головой и сразу же забыл, продолжал свой разговор.

Нет, кричаще красная юбка Майи здесь никого не привлекала. Тут были девицы и моложе Майи, в джинсах в обтяжку, со взбитыми прическами, парни в приталенных рубашках, с бачками и запущенными волосами, пожилые привычно благополучного вида, и среди благополучных несколько истощенно бледных, откровенно бедно одетых. Все держатся несколько стесненно, переговариваются между собой притушенными голосами, кидают терпеливые взгляды на конец стола — на грузного лысого хозяина, на бородатого всклокоченного Гошу Чугунова. Невольно и я себя ловлю на том, что у меня тоже постно-сосредоточенное лицо. И только Майя с откровенным нескромным любопытством озирается — жадные глаза, губы в потерянной складке. На нее уже исподтишка кое-кто косится с явным сочувствием — верят, что губы ее и в самом деле таят какую-то беду, не случайно оказалась здесь, пришла за утешением.

Наконец хозяин поднялся, навесил выпирающий животик над столом.

— Братья и сестры, — произнес он до певучего тенора проникновенно стончившимся голосом. — Не пора ли нам начать во имя господа нашего Иисуса Христа...

У него грубоватая полнокровная физиономия, в которую прочно впечатаны следы бесхитростных житейских забот. С такой физиономией подобает больше со вкусом выпивать стопку водки за плотным обедом, рассуждать о



ценах на картошку и мясо, любить нескромные анекдоты, отзываться на них утробным здоровым смешком. Но теористом кроткий голос и отрешенность, и непривычные слова о господе Иисусе Христе. И общее усиленное внимание, напряженные лица, ждущие чего-то особого, едва ли не чуда.

— Все мы, братья и сестры, живем в грехах, страдаем от грехов наших ближних. И некуда нам пойти и покаяться, как вот только так, собравшись вместе, поглядеть друг другу в глаза, признаться во всем друг другу, друг друга возлюбить, как завещал нам наш спаситель, сын божий. Братья и сестры, взгляните в себя повнимательней! Оставили ли вы за порогом обиды на ближних? Не мучает ли вас и сейчас зависть и корысть? Забудем их, обратимся душой к всевышнему! Проникнемся любовью и найдем в ней утешение...

Над головами поплыли вздохи, столь же разные, как разнообразен был состав собравшихся людей в этой комнате: одни с горечью, другие с облегчением, умиленные и стонущие, нарочито громкие и потаенные.

— Чтоб проникнуться, братья и сестры, настроиться, так сказать, на благодать, попросим для начала сестрицу Анфису спеть нам псалом сто четырнадцатый...

Сестрица Анфиса — явно не из преуспевающих — зеленое вытянутое поношенное личико, ветхая, штопаная и перештопанная белая кофта на хрупких косточках, встала, кашлянула в ладошку и дребезжаще тонким, жалующимся голосом затянула:

Господь услышал голос мой,  
Мне ухо преклонил свое,  
Я буду призывать его  
Все дни мои, все дни мои-и...

Сообщение «господь услышал...», обещание «буду призывать его...» — одинаково слезливой жалобой забитого существа. Мне пронзительно жалко ее и коробяще стыдно — если не засмеют, то проникнутся про себя презрением, нельзя же столь откровенно фальшивить. Но женщины постарше начали горестно сморкаться, а молодежь, без того подавленно смиренная, присмирела еще больше.

Болезни объяли меня,  
И муки адские грызут,  
В могилу тесную зовут —  
Скорбею я, скорбею я-а...

Майя не сводила замороженных глаз с жалующейся певицы, а я поражался тому сопереживанию — искреннему! — какое вызывала в людях бесхитростная, уныло исполненная песенка.

Как, оказывается, много значит игра в человеческой жизни. Из сочувствия к Отелло слез пролито наверняка куда больше, чем пад любым из людей, попадавшим в несчастье. К разыгранной беде человек, право же, отзывчивее, чем к беде настоящей. Кто жалел эту женщину за стеной комнаты, кто замечал ее? А сейчас вот горестно смотрят, вздыхают — внимание и подавленность!

Сестрица Анфиса продребезжала свою песенку до конца, опустила на место, оставив в воздухе нечто певнятное — то ли облегчение, то ли разочарование.

И в это-то время раздался голос Гоши, резкий, грубо земной, почти оскверняющий тишину:

— Зачем вы все сюда собрались?!

Собравшиеся колыхнулись, подняли головы, настороженно уставились в бороду Гоши. Никто ему не ответил.

— Вот вы, вы, например, зачем сюда пришли? — с прежней грубостью, бесцеремонно тыча пальцем в девицу с кокетливой белобрысой челкой и хвостом льняных волос, падающим с затылка на оголенную шею. Девица залилась краской до ключиц. — Любопытство вас сюда пригнало?..

— Не-не-ет, — еле слышно выдавила девица.

— Если не любопытство, тогда... тогда несчастье! Пусть даже пустяшное в глазах других, но для вас большое... Или я не прав? Может, вы совсем, совсем счастливы?..

— Н-нет, — снова выдавила из себя девица, краснея уже до мокроты в глазах.

Гоша вздернул бороду, обвел взглядом притаившихся слушателей.

— А кто здесь счастлив? А? — требовательно-командным голосом.

Все молчали.

— Нет здесь счастливых, у каждого есть что-то. Оно точит душу, как червь яблоко. И я не спрашиваю, у кого что. Но знаю, есть! И вы принесли сюда, а зачем? Разве вам кто-нибудь обещал: здесь снимут вашу беду? Кого не любят — станут любить, у кого нужда — привалит богатство, пьющий муж перестанет пить, больной выздоровеет... Кто думает, что это случится, как только вы выйдете отсюда? Есть ли среди вас такие простаки?..

Гоша вызывающе поводит бородой, длинный, песклад-по костистый, узкие плечики вздернуты, ворот клетчатой рубахи расстегнут, открывает голодную ямку в основании худой шеи. И люди опускали глаза под его взглядом.

— Так я вам скажу, зачем вы пришли сюда, вы, ждущие любви, но нелюбимые, нуждающиеся, но не умеющие выкарабкаться из пужды, вы, затравленные своими близкими, больные и просто уставшие! У каждого из вас свое, но каждому не хватает одного и того же. И не столько тяжела ваша беда, сколько то, что ее не замечают, знать не хотят. А вот это уже вовсе невыносимо!

Запрокинув нечесаную голову, Гоша выдержал длинную паузу, заполненную ожиданием.

— Братья и сестры! — произнес он торжественно и размеренно. — Брат-ья и сес-тры!.. Вот зачем вы сюда пришли, чтобы услышать эти слова. Их услышать и почувствовать, что ты не одинок на этом свете. Оказывается, есть кто-то, который может тебя понять, признать тебя братом. Духовным! Родство духовное куда крепче родства кровного. Сколько братьев и сестер по крови ненавидят друг друга, а разве сын не бывает чужим отцу, отец сыну? Братья и сестры, вы пришли сюда, чтобы сродниться... А как? Как это сделать?..

Гоша распалил себя, лоб и скулы его цвели пятнами, глаза горели. Новый для меня Гоша. Не просит внимания — грубо берет его, не доказывает — повелевает. И даже я забыл все, слушаю. Жадно слушает Майя, подалась вперед, озноб на лице, в изогнутых губах замороженная скорбь.

А люди, те люди, которые только что отзывались горестными вздохами на неумело разыгранную жалобу наивной песенки «Болезни объяли меня, и муки адские грызут...», сидят сейчас обмершие, почти что раздавленные. Как много значит игра в жизни! Тут разыгрывается роль властителя душ, и талантливо, нельзя не признать.

Гоша снова ткнул пальцем в девуцу с белобрысой челкой.

— Я!.. Я могу вам стать духовным братом только тогда, когда мы оба поверим в одно. Если мы будем верить в разное, каждый на свой манер думать, то какие же мы брат и сестра по духу. Мы останемся чужими и далекими. Вы никогда не поймете меня, я вас... А хочется, хочется, чтоб не только мы двое понимали друг друга! Чтобы все

люди на свете почувствовали себя братьями и сестрами! Значит, всем надо верить во что-то единое. Всем во всем мире! Во что-то... Но это не может быть маленьким, если в него должен верить весь мир. Это что-то должно быть великим, непостижимо великим! Может, мы найдем себе великого человека и станем верить ему, каждому слову, каждому жесту? Как бы ни велик был такой человек, но человек же! Он может ошибаться. Придется верить в его ошибки. Он может обижаться, озлобляться, творить несправедливости — и в это верить, это принимать?.. Нет, человеку, пусть даже самому великому, во всем верить нельзя. Что-то должно быть выше человека. Что, братья и сестры?!

— Бог... Бог... — с придыханием раздалось со всех сторон.

— Бог — да! Но многие нам скажут: как верить в бога, если его нельзя увидеть, почувствовать, нельзя понять, существует он или нет? Кто из нас не слышал таких возражений, братья и сестры?

— Слышали... Слышали... Все слышали...

— Почему я должен верить в того, кого я никак не могу определить, есть он или нет на самом деле? Не будет ли моя вера самообманом?

Майя метнула на меня изумленный взгляд, я сам поразился дерзости проповедника — рискованно играет, как же вынырнет?

Эта рискованная дерзость обеспокоила не только нас. Хозяин, сидевший рядом с Гошей, порозовел лысиной и заворочался на стуле всем своим плотным телом. Должно быть, он, истово верующий, не терпел столь прямых и острых вопросов. Остальные же братья и сестры, явившиеся за духовным родством, затаив дыхание слушали.

Гоша-проповедник продолжал спокойно и внушительно:

— А спросим себя, братья, можно ли вообще верить в то, что есть на самом деле? Я вам говорю: этот дом стоит на Молодежной улице. Вы прониклись верой? Да нет нужды проникаться, вы и без меня это знали. Оказывается, нельзя верить в то, что уже известно. Как нельзя хотеть есть, когда уже наелся. Если желание пищи при насыщении сменяется равнодушием к ней, то и вера пропадает перед очевидным фактом. Если б допустить, что мы узнали бога, то вся наша вера в него превратилась бы в утлое знание — есть такой! Быть может, мы какое-то время подивились бы его величию, а потом привыкли, стали бы от-

носиться как к нечто само собой разумеющемуся, то есть равнодушно. Бог непостижим и никогда не будет нами постигнут, а потому вера в него вечна!

— Но в этом сомнение, сомнение есть! — выкрикнул хозяин, все время беспокойно раскачивающий стул плотным задом, и розовая лысина выражала его волнение. — Бог-то, по-вашему, брат Георгий, не совсем, так сказать, несуществующее, воображаемое нечто!

Гоша с высоты снисходительно оглядел розовую лысину.

— У вас сомнение, брат Алексей. У меня его нет — верую в бога, потому что не знаю о его существовании. Верую, не допускаю сомнений.

Хозяин на секунду смутился, он был простоват, однако упрям и, должно, самолюбив, потому, цвеля лысиной, возразил:

— Я верю, верю, что он есть, так сказать, в полной наличности, без всяких там...

— И прекрасно, — великодушно согласился Гоша. — Верьте как умеете. Вы верите, я тоже, в нас одно, а потому мы братья.

Хозяин покряхтел, поскрипел стулом, ничего не возразил, но был явно в некотором сомнении насчет полного братства с Гошей Чугуновым. Зато остальные в том явно не сомневались. Я видел разглаженные лица и горящие благодарные глаза, направленные на Гошу.

Далеко не все поняли его изворотливую логику, да полного понимания и не требовалось. Важно — бог был как-то объяснен, он объединял, значит, каждый чувствовал, здесь собрались не одинокие люди, а единомышленники, соглашаются друг с другом, могут рассчитывать друг на друга, а значит, друг на друга надеяться. И тот, кто рождает надежду, уже не простой смертный — вождь, пророк, а потому к нему горящие глаза, разглаженные лица...

Мы вышли, солнце скрылось за вздыбленными домами той части Молодежной улицы, которая была уже полностью отвоевана городом. Городские дома — дымчато-сумеречны и величавы. А вокруг нас нетронутая окраина встречала вечер. В воздухе висела лиловая пыль. По асфальту проносились напористые машины из города и в город. Перелбrehивались по-деревенски собаки. Шли стайками парнишки и девчонки — в расклепанных брюках, буйно патлатые и развязные. Они не догадывались, что рядом объявился пророк, вопрос бытия божия не возникал в их

длинноволосых головах, да и вопросы собственного бытия их еще, видать, не особо волновали.

Вечер наваливался теплый, даже душный, но Майя зябко передергивала плечами под тонкой кофточкой и постоянно оглядывалась назад: пророк застрял в доме, а ей не хотелось так просто с ним расстаться. Да и я был не прочь перекинуться парой слов, распирали возражения, еще новорожденные, не до конца вызревшие.

— Попал в осаду,— сказал я.— Вцепились, быстро не отделается. Пошли.

И Майя послушно последовала за мной к автобусной остановке.

Я ошибся, Гоша Чугунов быстро отделался от почитателей, появился возле нас до того, как автобус подошел.

— Что вы убегаете? Поговорим...

Долговязо-тощий, штаны мешковато спадают с худого зада, бородка, прячущая в лице остатки молодости,— для постороннего глаза жалкая фигура. Но мы отчетливо видели в нем следы пережитого величия — не сутулятся, движения излишне размашистые, в голосе не обиженность, даже не упрек, а еле уловимая капризность: должен еще бегать за вами.

— Ждешь признания? Что ж, готов признать,— сказал я.— Ты был красноречив. До удивления!

— Я же видел, как ты выносил на физиономии эдакое: эх, приложу! Прикладывай.

И метнул взгляд на Майю, словно пообещал: вот я его! Уж не считает ли он и Майку своей единомышленницей? Больно быстро.

Я спросил:

— Неужели ты искренне думаешь, что вера в одну недоказуемую идею бога способна уничтожить все людские противоречия, какие есть и какие будут?

— Бог, старик, не одна идея, а целый комплекс сложных идей.

— А могут ли быть столь универсальные идеи, которые приложимы ко всему, что возникает и будет возникать между людьми?

— Идея «любви ближнего» разве не универсальна? Разве в благословенном будущем люди, сталкиваясь с ненавистью, не станут вспоминать ее?

— Вспомнят, и что?..

— Будем надеяться победят ненависть в себе.

— Останутся с одной лишь любовью друг к другу? А не опасно ли это?

— Любить друг друга опасно? Ну и ну, договорился!

— А сколько мамаш искалечили своих сыновей неразумной, горячей любовью. Любили в них все, даже пороки, а в результате или олухи, или преступники!

— Но, наверное, любовь, когда неразумна, перестает быть любовью.

— Вот именно. Любящим мамашам разумней было бы проникнуться ненавистью к каким-то поступкам дорогих сынков. То есть ненависть в жизни имеет такое же право на существование, как и любовь. Важно знать, что любить, а что ненавидеть. И тут вера в бога не подскажет — разумея сам.

Гоша сердито боднул в сторону бородатой головой.

— Старик! Убеждать нам друг друга насчет бога — толочь воду в ступе. Я вовсе не рассчитывал тебя, неверующего, превратить в верующего. Не для того позвал. Хочу, чтоб ты взял обратно свое слово «мизантроп». Люди тянутся ко мне, уходят от меня ободренные и, смею думать, более счастливые, чем были до встречи. Возьми «мизантропа» обратно, и мы расстанемся.

— Я считаю, ты своим красноречием искусно — очень искусно и ловко! — обманул доверчивых. Наобещал братство, которое никогда не сбудется. Мне жаль этих обнадеженных, тебе — нет. Ну так извини, я по-прежнему считаю твоё отношение к людям дурным, безответственным.

В это время подошел автобус. Я взял под локоть Майю, не обронившую ни слова во время нашего разговора. Гоша не ответил и не сделал попытки остановить нас. Мы втиснулись в автобус.

В окно я видел его — стоит, расставив длинные ноги, сутулится, действительно похож на Дон Кихота.

Майя молчала всю дорогу, старалась не смотреть в мою сторону, задумчиво взмахивала длинными ресницами. Молчал и я, не спрашивал — пусть переваривает, сама скажет.

Дома она опустила на тахту, сжала коленями ладони, снова долго молчала, подрагивая скорбящими губами, наконец изрекла:

— Ты видел, с какой жадностью его слушали люди, Павел? А как они изменились все от его слов... Они этой встречей будут много, много дней жить. А кто-то, может, через всю жизнь ее пронесет...

— Пронесет иллюзии, Майка. С иллюзиями человек не может быть защищен, от жизни у таких одни кровоподтеки.

— Без кровоподтеков не проживешь... А тут хоть что-то имеешь, кроме кровоподтеков... Что-то хорошее, Павел!

— Я ученый, Майка, обманывать людей, выдавать желаемое за действительное считаю преступным.

— То-то и оно, что ты ученый...— Лицо ее было утомленно-серьезным.— Ученый!.. И ты прав, прав! Возразить трудно — логика железная. Но какая радость от нее, железной?.. От твоего железа холодно на душе. А этот ободраный бородач наплел им черт-те что... Ты думаешь, я не понимаю, какая это путаная чепуха? Но люди-то от нее у меня на глазах красивели! И уверена, сейчас они все тихо радуются. Кроме, конечно, того, с красной лысиной. Ему, вроде тебя, нужны доказательства. До тошноты скучный тип. Радость возьми, а доказательства дай. И слава богу, у тебя хватило ума не кинуться на пророка при людях. Конечно, ты бы его поколотил... железной логикой, штука тяжелая. И сидели бы эти люди сейчас по своим углам, думали: вот муж скоро пьяный придет, сын-балбес школу бросает, денег нет, а семью корми — и ни-ка-ких иллюзий!

Я сел рядом с ней, положил на ее колено руку.

— Майка, давай убеждать, что водородные бомбы — пустяковые игрушки, что океаны не могут превратиться в сточные лужи и что никогда больше к власти не придут новые гитлеры, не будут строиться концлагеря с колючей проволокой, не завертится мировая мясорубка... Ты думаешь, Майка, так уж и трудно людей убедить в этом? Даже особо красноречивым быть не надо, с охотой поверят уже потому, что желанное. Поверят и станут чувствовать себя счастливыми, Майка! Но опасности-то не исчезнут, наоборот, черт возьми, они станут еще грозней, потому что людей усыпили. Да за такое счастье непотревоженных идиотов человечество может поплатиться своим существованием, а уж бед страшных и крови не избежать. Счастье не иллюзиями добывается, Майка, а тяжелым трудом, заботами, страданиями. Да, и страданиями тоже!

Она плеснула мне в лицо темным взглядом.

— Труд, заботы, страдания... С тех пор как себя люди помнят — труд, труд, заботы, заботы, страдания, страдания без конца, а много ли прибавилось в мире счастья?

— Наверно, все-таки прибавилось, Майка.

— Где ты его видишь?

— Испокон веков по России-матушке ходили толпы нищих с холщовой сумой через плечо, стучали под окнами: «Христа ради, па пропитание!..» А ты в жизни хотя бы од-



ного нищего видела? А сама ты мечтала когда-нибудь о куске хлеба?.. И те, что сидели, уши развесив, перед Гошей-праведником, сыты, одеты, работают не по четырнадцать часов в сутки, два выходных в неделю имеют. Пожалуй, что это счастье, Майка. И невыдуманное. Я бы хотел сделать его еще более надежным.

Я встал, убежденный, что поставил точку. Мне уже казалось, что любые возражения тут просто бессмысленны. Но Майя подняла на меня глаза, взгляд ее был внимательным и тяжелым.

— То, что я рано или поздно умру, не иллюзия, не выдумка — голая правда. И повторяй мне ее изо дня в день, заставляй постоянно об этом думать, — да, несчастней меня не будет никого на свете. Мне забыть это нужно, больше того, мне надежда нужна — да, да, иллюзорная! — что моя жизнь будет длиться вечно. Надежда вопреки правде, Паша, вопреки здравому смыслу! Ты ее не дашь, а вот Гоша может...

Странный и неожиданный для меня взгляд — правда, от которой нужно прятаться! Я считал себя представителем объединенного во всем мире племени ученых, с разных сторон, в разных местах ищущего истину. Любое заблуждение для меня враждебно, и чем оно соблазнительней, тем опасней. Должно быть, я не мог скрыть возмущения в голосе.

— Действительность страшна? Да! Но, представь, от нее, страшной и неприглядной, отворачиваются, знать не хотят, иллюзиями ее подменяют. Можно ли после этого бороться за свое существование, Майка?

— Вера в загробную жизнь, бессмертие души, рай, справедливость... Иллюзии, иллюзии! Неужели зря к ним веками тянулось человечество? Не будь их, Павел, наших предков, наверное, такой страх, такая тоска и безнадежность охватили бы, что ни бороться за существование, ни о детях заботиться желания бы не было.

— В загробную жизнь верили, но за настоящую, однако, цеплялись. Много ли было таких, которые предпочитали добровольно переселиться в мир иной? Значит, не так уж и сильна была вера в иллюзии.

— Как ты просто считаешь — раз поверил в иную жизнь, непременно расставайся с этой! Вера в иную, дальнейшую продолжала эту жизнь, как бы поправляла ее самый существенный недостаток — кратковременность.

Майя сидела, сутулясь, упрямо хмурила свои сумрачные брови, стискивала коленями ладони...

Нет, мы так и не пришли к согласию.

Мне тогда вспомнились слова Лейбница: «...Если бы геометрия так же противоречила нашим страстям и нашим интересам, как нравственность, то мы бы также спорили против нее и нарушали ее вопреки всем доказательствам Эвклида и Архимеда...»

Мудрый Лейбниц считал — виноваты страсти и интересы. У меня с Майей страсти не столь уж и сильно различались, интересы у нас были в общем-то одни, но вот, поди ж ты, доказать друг другу бессильны.

Ночью полная Луна заглядывала к нам сквозь неплотно задернутую занавеску, свет ее падал на тисненные золотом корешки словаря Брокгауза — Ефрона, гордость моей скромной библиотеки. Майя спала, ровно дышала, подсунув под щеку кулачок. Я думал...

Земля — прекрасная планета, красива и удобна. Во всем бескрайнем мироздании наверняка не найдется для нас второй такой же удобной.

И нет на земле для людей врагов, побеждены все.

Нет врагов, кроме самих себя.

Понять друг друга — значит себя обезопасить.

Понять друг друга — достигнуть совершенства!

Но не странно ли, что даже я и Майя в чем-то не можем договориться, два любящих человека! А как тогда договориться между собой миллиардам?..

В те дни я был счастлив как никогда. А наверное, чем больше человек счастлив сам, тем настойчивей и беспокойней он думает о счастье других. Нет, не из альтруизма, а во имя сбережения своего собственного счастья. Только вместе со всеми оно еще может оказаться надежным.

Ночь. Пробивающаяся Луна. Спящая рядом Майя.

## Глава третья

### ПОЛДЕНЬ

#### 1

Я взял себе отпуск, у Майи продолжались каникулы. Мы строили планы путешествия.

Я предлагал захватить палатку, раздобыть по дешевке

простую весельную лодку... Нас понесет мимо тихих деревень, сельские колокольни станут провожать нас с берегов, будут костры с окуневой ухой, будут розовые расветы.

Но Майя решительно возражала:

— Не хочу, чтобы наша жизнь начиналась скромненько под ракиновым кустиком...

Из своего города она выезжала только в Сочи и Сухуми вместе с папой и мамой. Москва, Ленинград, Новгород, Псков, Рига — вот заветный маршрут!

— Хочу торжественной увертюры!..

В Москве к нашим услугам свободная квартира — Майина тетка с мужем каждое лето проводят в Кисловодске. В других же городах нас никто и ничто не ждет. М-да-а, увертюра...

Шел наш медовый месяц. Не обольщайтесь названием — в медовый месяц обычно вкушают первую горечь.

Два человека со своими привычками, своими взглядами и особенностями сходятся вплотную, и почти невероятно, чтоб они во всем совпадали, не давили, не причиняли друг другу неудобств, досады, болезненных ощущений. Еще вчера он считал — она сверхидеальна, она — он исключителен, неповторим, старались показать себя с самой наилучшей стороны, в самом возвышенном качестве. Вчера это было еще можно, а сегодня уже приходится решать мелкие житейские вопросы, поступать не исключительно, а привычно, проявляя себя не с парадной, а с будничной стороны. Удивительно ли, что восторженность уступает место разочарованию?

Медовый месяц — крушение идеалов, отрезвление. Берегитесь медового месяца — именно в нем проступают трещины, которые могут обрушить здание семьи.

Я вспомнил совет моего добрейшего Бориса Евгеньевича: «Соперничайте в уступках... Ее желания для тебя должны быть выше своих!» И я уступил Майе скрепя сердце, предчувствуя осложнения.

## 2

Тихое окраинное место Москвы. Просторный светлый переулок с громадными, как отвесные горы, домами в самом конце проспекта Вернадского, от него две остановки на метро до университета и далеко до центра.

Мы заняли двухкомнатную квартиру уехавших в Кис-

ловодск Майкиных родственников. Одна стена была сплошь увешана ярко раскрашенными масками, улыбающимися, плачущими, оскаленными, монголоидными, негроидными, совсем сатанинскими. Муж Майкиной тетки работал инженером-механиком на заводе точных приборов, а дома с помощью бумаги, красок, клея и лака творил эти маски, преувеличенно гневающиеся, издевательски радующиеся. А на полках половина книг на французском языке — Майкина тетка преподавала его в одном институте. Вокруг следы давно устоявшейся жизни, по-своему содержательной и, право же, красивой, но далекой для нас. Я удивлялся особенно маскам, хотя не скажу, чтоб они уж очень нравились своим сатанинством. Майя много о них слышала и раньше — одна из таких масок даже висела у них дома как подарок, — потому отнеслась довольно равнодушно и поторапливала меня:

— Нечего нам торчать возле этих харь, пойдем брать приступом Москву.

И мы пошли брать приступом...

Майя захотела пройти к Ленинским горам через университет.

Я и раньше бывал в новом университете — однажды на расширенном симпозиуме биологов и дважды по поручению нашего ректората утрясал какие-то не слишком сложные вопросы. Каждый раз подходя вплотную к центральному зданию, странно, я испытывал почти восторженное чувство собственной ничтожности — подъезды великаны, не для простых смертных; колонны уже не монументальны, а обременительны для земли, холодеешь, представляя их давящую тяжесть; стены нависают над тобой всей своей запредельной устремленностью и, кажется, падают на тебя, но с той величавой медлительностью, которая несравнима с твоей короткой человеческой жизнью. Циклопическая цитадель науки, она для меня некое наглядное олицетворение научных свершений, открывших нам столь величественное, по сравнению с которым мы сами себя чувствуем чем-то микроскопически несущественным.

Похоже, что и Майя, впервые столкнувшись с новым университетом, испытывала то же самое. Она притихла, растерянно озиралась, запрокидывала голову, подавленно молчала, и в губах ее отчетливей, чем всегда, проступала беззащитная страдальческая складочка.

— Хотела бы ты тут учиться? — спросил я.

Она помолчала, ответила неуверенно:

— Мне кажется, я бы тут совсем затерялась.

Но вот университет остался за спиной, мы пересекли шоссе, приблизились к каменному парапету, и перед нами — Москва, необъятная, вкрадчиво тонущая в мутных далях и какая-то затейливо игрушечная. По черной реке плыли лебедино-белые речные трамваи, натужно тянулись неумеренно длинные баржи, груженные ярко-рыжими кучами песка, висели прочно-сквозные мосты, и, пока хватает глаз, как причудливый каменный сад, в истоме ли, в дремоте ли замерли за рекой сросшиеся друг с другом дома. И глаз вырывает из них то застенчивые купола Новодевичьего монастыря, то обойму труб теплостанции, то дымчатые силуэты высотных зданий. Великий город отсюда выглядит не пугающим, а зовущим, чувствуешь себя над ним великаном, почти господином. Смутные дерзкие желания кружат голову...

Неожиданно на нас нахлынула шумная толпа — мужчины в черных, не по сезону костюмах, женщины в ярких платьях... и невесты, невесты, не одна, не две, сразу несколько, все в белых свадебных платьях. Мы и не заметили, как к обочине подкатили разнаряженные в алые ленты машины с болтающимися детскими шарами и куклами-голышами на радиаторах. Оказывается, Ленинские горы — место паломничества молодоженов.

Я переглянулся с Майей и понял — она, как и я, испытывает сейчас что-то вроде умудренного снисхождения к женихам и невестам, окруженным суестьями родственниками: у нас это уже позади, мы на шаг дальше ушли по жизни, а значит, на шаг их ближе к старости. Ощущение превосходства и роковой необратимости.

Смех, шум, толкотня, крики и обидное невнимание к раскинувшейся Москве. Наконец прибывшие стали разбираться на кучки — на каждую по невесте! — и фотографы в рьяных позах стали целиться на них объективами, запечатлевали великий город для брачного фона.

Мы полюбовались и не спеша двинулись под тенистой зеленью Воробьевского шоссе к метро, к одной из самых красивых станций, нависшей над рекой. Через каких-нибудь полчаса мы будем далеко отсюда, в центре каменного сада, который сейчас тонет в мутной дымке.

У Майи лучились глаза, губы обмякли, таили улыбочку.

Она ждала от Москвы щедрых подарков...

Москва должна подарить ей Плисецкую в Большом те-

атре: «Буду рассказывать о ней своим внукам — видела великую артистку века».

Москва должна подарить ей театр «Современник» и Театр на Таганке: «Я слышала о них легенды, теперь хочу видеть эти легенды своими глазами!»

Москва должна подарить Третьяковку и Рембрандта в стенах Музея имени Пушкина...

Ну а помимо всего этого, Майя еще ждет от Москвы сюрпризов, сама пока не ведает, каких именно.

Вот сюрпризы-то сразу и посыпались, как только мы проникли в глубь Москвы...

Великой артистки века в столице не было — то ли она выступала где-то за границей, то ли где-то отдыхала.

Но в Большой театр, хотя бы и без Плисецкой!..

Увы, практически невозможно. Учреждения, занимающиеся обслуживанием иностранцев, закупают почти все билеты.

А «Современник» на гастролях.

А Театр на Таганке банальным образом ремонтируется.

Лето — мертвый сезон.

И был вечер, и было утро: день один! Он начался для нас парадом Москвы, а затем целиком ушел на выяснение неутешительных обстоятельств.

Но Третьяковку-то от нас Москва спрятать не могла...

На следующее утро мы устремились к знаменитому Лаврушинскому переулку и... оказались в хвосте длинной очереди.

Говорят, что Москва ежедневно пропускает через себя около двух миллионов проезжих. Если из них всего один процент пожелает посетить Третьяковку — уже двадцать тысяч человек! И москвичи тоже ведь в нее набегают...

Стайки пионеров под надзором ретивых вожатых, бородастая степенная молодежь и суетливые безбородые старички, интеллигенты и рабочие парни, простые солдаты и офицеры всех званий, сельского вида семейства — папы, мамы, детишки, иногда с престарелыми бабушками и дедушками, — все сословия, со всех мест огромной страны. Мы встали в очередь утром, а переступили заветный порог, когда солнце перевалило за полдень.

В залах душно и тесно, известные картины в осаде, к ним надо пробиваться...

Но Майя сразу же «взыграла», лицо ее запылало, она крепко схватила меня за руку. Ни разу еще не бывавшая в этих залах, она знала Третьяковку наизусть и к каждому художнику относилась или с воинственным восторгом, или

с не менее воинственным пренебрежением, а иногда и с тем и с другим сразу.

— Ты посмотри, как нагреты солнцем тела мальчиков! — говорила она вздрагивающим, упругим голосом, новым для меня. — И обрати внимание, никаких коричневых тонов, тени цветные... А вот этот этюд скал — какое судорожное море! Ты видишь, что оно минуту назад было иным, иным станет через минуту. Это и называется — живет! И учти, Александр Иванов работал задолго до импрессионистов. Моне и Ренуар, наверное, на свет еще не родились, когда писался этот этюд. На полвека мир обогнал! Создавал чудеса, а для чего? Чтоб сотворить — о господи! — сухую и холодную картинищу. Да, да, «Явление Христа»! Парад-алле на южном ландшафте. Не хватает только духового оркестра, чтобы грянул туш. А какая выписанность — складочки, пяточки, математика, а не живопись. Гений, ухлопавший всю жизнь, чтоб стать бездарностью... Зато уж монументальной, ничего не скажешь.

Горящие щеки, прыгающие блестящие глаза и рука, вцепившаяся в мою руку. Все, чем богата, что копила в себе полжизни, сейчас выплескивала на меня со страстью, до дрожи в голосе. И я, зараженный ею и ею подавленный, покорно шел за ней сквозь толкущихся зрителей — слепец за поводырем, ведущим в мир прекрасного.

Но это кончилось неожиданно.

Мы протолкались в зал Крамского, я издали увидел «Незнакомку» и потянулся к ней. Неискушенный в живописи, я, пожалуй, из всего, что встречал на цветных вкладках журналов, в случайных монографиях, попадавших мне в руки, любил более всего, увы, бесхитростную «Рябинку» Грабаря и эту «Незнакомку». «Рябинка» напоминала мне мое далекое деревенское детство, а «Незнакомка» у меня была своя... Та самая — в автобусе! Светлый след остался от нее, до сих пор радостно, что эта женщина где-то живет на белом свете — дай бог ей счастья. Сталкиваясь с репродукцией «Незнакомки», я каждый раз поражался — другой человек в другом веке пережил, оказывается, то же самое.

Я потянулся к «Незнакомке», а Майя воинственно фыркнула:

— Тебя интересует эта кокотка в коляске?

— Почему кокотка? — оскорбился я.

— Стасов ее так называл.

На Майю я оскорбиться не мог, но зато сразу же проникся лютым недружелюбием к Стасову.

— Пень же он был, однако. Красивый цветок видеть приятно, а тут человек!

С величавым спокойствием глядели из-под приспущенных ресниц прекрасные глаза — на меня в толпе, чужого ей, минутного, минутный взгляд!

А у Майки вдруг пропала воинственность, она сразу же как-то увяла. Должно быть, до сих пор во взведенно-восторженном состоянии ее поддерживало чувство ответственности — без нее, поводыря, могу заблудиться, указывает путь слепому, дает зрение! А слепой, выходит, лишь притворялся слепым, обманывал — напрасные усилия, ненужное усердие. И духота, теснота, чужие сплоченные спины, через которые надо пробиваться. И обилие картин, вглядывайся в них с напряжением, ищи то, что должно волновать тебя — да за этим же сюда и пришел! — утомительно. Внезапно наступило пресыщение.

Нам бы после этого следовало уйти сразу же подбур-поздорову — унести с собой то, что уже получили. Воистину хорошего понемножку! Но мы-то прилетели сюда за тысячу с лишним километров, когда-то еще нас занесет в эти стены снова, грешно не посмотреть все. И мы, преодолевая усталость, борясь с оцепенением, насилуя себя, пошли толкаться дальше, глядели, глядели — картина за картиной, зал за залом, с добросовестным упрямством, по обязанности.

Майя уже не тянула меня, не пыталась объяснить, изредка вяло роняла слово, другое, тяжело опиралась на мою руку.

Вышли на волю, волоча одеревеневшие ноги. Майя молчала, лицо ее было бледно и равнодушно, губы капризно-вялы. В воздухе висел запах разогретого асфальта и бензинового перегара. За рекой, от которой не веяло свежестью, на заходящем солнце истекали жарким жидким золотом купола кремлевских церквей.

И был вечер, и было утро: день второй!

Наш следующий день начался под прохладными сводами Музея изобразительных искусств. Здесь не было такого столпотворения, как в Третьяковке, людно, но без духоты и толкучки, можно бы никуда не спешить. Но Майю залихорадило. Она лишь слепо покружилась по залам древнего искусства, выскочила к картинам, остановится перед одной, начнет всматриваться, и на лице сразу же проступает мучительное выражение. Минута, другая, и она сры-валась:



— Идем к Рембрандту!

Но через несколько шагов снова застывает, снова мучительно всматривается, выскивает, решительно встряхивает волосами.

— Идем к Рембрандту!..

Вот и он, наконец-то, вымечтанный Рембрандт. Я ждал чего-то оглушительно великого, но заветные картины ничем в общем-то не отличались от других — неприметно малы, не яркие, скромны до обиды. С черных полотен, как из тьмы веков, тускло проступали старчески изрытые лица, старчески натруженные руки.

Майя замерла, как охотничья собака перед дичью, стояла долго-долго, тревожно поблескивая глазами. И все та же гримаса мученичества... Глубокий, почти с детским всхлипом вздох, растерянный тихий голос:

— Странно... Совсем странно... Мне сегодня все что-то не нравится. Даже Рембрандт...

Решительный поворот на каблуке.

— Идем!

Я думал, что она зовет меня смотреть дальше — других художников, иные полотна. Но она, кружа по залам, стала искать выход.

Мы схватили такси, Майя попросила шофера:

— По театральным кассам... Ко всем подряд, какие знаете!

И пошли мелькать улицы и площади... Такси останавливалось, Майя выскакивала, я покорно тащился за ней. Впервые я увидел гордую Майю в роли униженной просительницы:

— Очень вас прошу!.. Очень!.. Всего два билета в Большой... Куплю с любыми дополнениями, хоть на футбол... Мы гости здесь, всю жизнь мечтала...

Я слушал и страдал — ничем не мог ей помочь.

Шофер такси, пожилой, грузный, с несколько брюзгливым выражением на полной физиономии всеведающего и все видавшего человека, оборвал свое невозмутимое молчание, презрительно проворчал:

— Так вы весь свой отпуск проездите, пинжаки... Вечером перед театром потолкайтесь, авось на барыгу наткнетесь... Все вернее.

Москва, раскаленная, душная, сутолочная. Летняя Москва, обильная проезжим людом, гонящая от себя москвичей. Москва снисходительна к тем, кто врывается в нее с делом, и беспощадна к тем, кто наезжает ради нее самой — познакомиться со столицей. Великий город не терпит сан-

тиментов, новичка душит многолюдьем; в магазинах очереди, в кафе очереди, на тротуарах толкучка, беги, беги и не смей остановиться.

В Москве-то у нас есть хотя бы крыша над головой, а что будет в других городах?..

Майя не потянула меня вечером под колонны Большого театра в расчете на барыгу, вынимающего из рукава заветные билеты. Нечего ни смотреть, ни делать. Пора ехать дальше... в общем-то не слишком солоно хлебавши.

Впереди Ленинград...

Я не заговаривал с Майей. Нет нужды напоминать, что оказался прав. Сама вот-вот созреет — убитый вид, подавлена, замкнуто молчалива.

И был вечер, и было утро: день третий!

### 3

Утром Майя не захотела вставать, лежала в постели растрепанная, с поблекшим, неуловимо асимметричным лицом. На нее со стены уставились гримасничающие лики, все кричащие яркими красками и каждая со своим оскалом — с гневом, ужасом, с угрожающим торжеством.

Кажется, «дошла». Пора.

Я подошел к Майе. Она глядела на торжествующие маски, в их пустые глазницы, в их ощеренные пасти, меня словно бы и не существовало.

— Майка, давай думать...

Она не пошевелилась, не повела глазом.

— Ты меня слышишь, Майка?..

Прежняя замороженность, взгляд мимо, на маски.

— Обсудим сейчас и повернем все по-другому.

И она взвилась — раскосмаченная, глаза провалились, лицо — зелень, точь-в-точь как маска — сплошной оскал.

— Т-ты!.. Т-ты!.. — задыхаясь. — Т-ты всегда таким будешь? Недотепой!.. Не мужчина, мальчик-паинька! За бабьим подолом послушно таскается!.. Повернем?! А что мы видели? Чем ты мне помог? С постной рожей бродил следом, хвост бабий!.. И радовался про себя! Ра-адовался!!

Ее лицо как-то странно сдвинулось, подбородок ушел в сторону, губы растянулись, утратили свой изгиб, а глаза темные, сухие, враждебные, жгущие. Она задыхалась.

— Видел!.. Видел же!.. Как я бьюсь! Знаешь же, как мне дорого!.. И плевать, плевать, даже доволен — на, получи! Пальцем не ударю, чтоб помочь...

Я затылком чувствовал глумящиеся маски за своей спиной. И Майино лицо, безобразное, как маска! Она выкрикивала рваные бессмысленные фразы...

Я повернулся, двинулся к двери. Маски провожали меня немотным хохотом.

Навстречу мне двигались прохожие, потусторонние люди, с которыми я никогда больше не пересекусь на пути.

Борис Евгеньевич, мой учитель, благословил меня: пусть ее желание будет тебе дорожке своего, и ты обретешь мир и покой!

Обезображенное лицо, представить бы не смог, что увижу таким...

Солнечный день, идут редкие встречные, и каждый встречный счастливее меня. А совсем недавно я свысока смотрел на всех — ношу в себе то, чего другие и не подозревают, что бывает подобное в жизни.

Улыбка мироздания на небе и ее изломанные губы, зывающие о помощи. Было это!..

Какими странными голосами кричали тогда лягушки...

А утро, невозможное утро, не случилось такое видеть даже во сне — чистый, чистый, праздничный город под розовым океаном...

Единственная средь людей —  
Жизнь дающая!..

Было! Было!..

Потеряно.

Неужели?.. Так сразу? В одну минуту?

Солнечный день, и я на мостовой, толкающий перед собой собственную тень. Я не хочу вспоминать ее обезображенное лицо с чужими, бесформенно растянутыми губами... Лицо, поднятое к луне, лицо сотканное из света... Волосы ее тяжелы, волосы ее насквозь пропитаны ночным мраком... И серебром тогда отливали белки ее глаз... Не хочу! Не хочу! Бережно перебираю обломки: было! было!

На обочине «Запорожец», умытый, самодовольно сияющий, сентиментально голубой. Возле машины на асфальт брошен объемистый мешок, резиновые сапоги, разобранные бамбуковые удочки со спиннинговыми катушками. Хозяин самодовольно-сентиментального «Запорожца», вещмешка, сапог, удочек, долговязый мужчина в выгоревшем до рыжины берете и теплой — не по жаре — старой кожанке, выбирал из связки ключи, чтоб отпереть машину.

Его полное лицо было размякшим, в крупных руках нетерпение — рыбак, собирающийся на рыбалку, переживающий счастливую минуту, впереди у него свобода, впереди время, отданное страсти. Он не может быть сейчас не отзвучив.

Я остановился. Мне, отчаявшемуся, захотелось погреться у чужого счастья.

Неужели у меня все кончено? Все? Бесповоротно?..

Хозяин «Запорожца» раскрыл багажник и стал в него втискивать вещмешок, сапоги; лицо его, изрытое морщинами, выражало сейчас озабоченность священнодействия.

Кончено? Из-за чего! Нелепость же!.. Кому рассказать, разведут руками: экая ерунда!.. Во мне, кажется, начало прорезаться сомнение: а кончено ли?..

Удочки в багажник не влезали.

— Не габаритны. Тесна коробочка, — сказал хозяин без огорчения.

Я с завистью его спросил:

— Далеко?

Он уловил мою зависть, наверняка возгордился про себя своим нехитрым счастьем, может быть, даже в душе пожалел меня.

— Один день отгула — далеко не сорвешься. На Михайловские пруды выскочу, километров сорок отсюда. Утром вернусь.

— А в отпуск куда вы, москвичи, ездите?

— Для меня святое место — Валдай, деревня Нелюшка, восьмое чудо света, стоит сразу на трех озерах. Слышали такое?..

И у меня все внутри напряглось, как перед прыжком вниз с высокой крыши. Деревня, стоящая сразу на трех озерах. Действительно.

— А поездом туда можно? — спросил я.

— С Ленинградского вокзала... Триста с лишним километров, вот и считайте, сколько проедете.

Но захочет ли она разговаривать со мной? Согласится ли?..

А нужно ли мне теперь спрашивать ее согласия?

— Спасибо тебе, друг, — сказал я проникновенно и торпливо отошел.

Хозяин «Запорожца» кинул мне в спину озадаченно:

— Пожалуйста.

Я вдруг увидел, что небо над крышами домов засасывающе синее, что день яростный, что даже здесь, в городе, среди асфальтовых мостовых, деревья обильно зелены,

Все кончено!.. Ну нет, погоди! В охапку возьму, вынесу — в деревню Нелюшку, на Валдай! На трех озерах стоит деревня, возможно ли такое?.. Никаких возражений! Силой!.. На руках! Да знаешь ли ты, что значит при свете костра в ночи глядеть друг другу в зрачки? Далеко люди — ты, я и огонь, никого боле! Не с первобытного ли костра в ночи родилось то, что впоследствии получило название — любовь к ближнему. Ты, я и огонь в темном мире — как не чувствовать себя едиными!..

Из-за угла вынырнуло такси, я вскинул руку.

— На Ленинградский вокзал. Побыстрей, если можно.

Через три часа я, потный, растерзанный, ввалился, сгибаясь под грузом раздутого новенького вещмешка. Сбросил его у порога, не снимая шляпы, шагнул в комнату. Я больше всего боялся, что не застаю ее — ушла одна толкаться по Москве назло мне и себе, лишь бы выдержать характер.

Нет, никуда не ушла, сидела сиротливо на неприбранной кровати, поджав под себя ноги в нейлоновых чулках, туфельки стояли на полу. И по-прежнему разглядывали ее, издевательски гримасничая, крашенные рожи со стены. А лицо ее сейчас было просто замученно-бледным. Да была ли она безобразна, кричала ли, задыхалась от ненависти? Не верится! Жаль ее, хоть плачь.

— Собирайся!

— Куда? — слабым голосом, с потухшей строптивостью.

— На поезд.

— Но...

— Быстро шевелись! Чемоданы с тряпками останутся здесь, на обратном пути заберем. Эти туфли — к черту! Наденешь кеды, купил тебе и себе... Влезай в джинсы, захвати с собой свитер. Возьмем здесь две простыни и два одеяла — вернем!

— Но...

— Никаких «но»! Поворачивайся! Такси ждет у подъезда. Времени до отхода поезда в обрез!

Уже одетая и обутая мною по-дорожному, она, выходя, удивилась объемистому рюкзаку, который я взваливал себе на спину:

— А это что?

— Консервы.

— Какие консервы?

— Обычные: свиная тушенка с фасолью, щи...

— Зачем?

- В Нелюшке навряд ли есть магазины и столовые.
- В Нелюшке?.. В какой Нелюшке?
- В той самой, что стоит на трех озерах!

4

Нелюшка — земля обетованная! К ней, к ней, только к ней! Душный набитый вагон поезда, полдня в тихом Валдае. Обычный районный городишко — низенькие тесовые, пиферные, железные крыши, среди них выдаются учрежденческие здания в несколько этажей, — по нельзя отделаться от ощущения, что он, тихий Валдай, стоит на самом краю земли. С одной стороны за домами навалилась необъятная пустота, кажется, там только небо, и ничего больше, стоит выйти за город, и упрушься в его непостижимую твердь. Нет, до неба далеко, однако земля и в самом деле здесь кончается — начинается озеро, синее, под небесный цвет. Первое из валдайских озер, которое мы видим.

Полдня в Валдае ушло на разговоры с шоферами грузовиков.

- Закинь нас, браток, в Нелюшку.
- Не попутно, парень.
- Уж как-нибудь, а мы сговоримся, в обиде не останешься.

Почесывание в затылке, вздох.

— Не-ст. Далеконько от шоссе, чуть дождик брызнет — вам что, мешки на спину и пошли, а мне куковать среди дороги. Может, поближе куда?..

К ней, к ней, только к Нелюшке! Ничто другое меня не устраивало.

Наконец один из шоферов дал себя уломать — Майя в кабине, я в кузове, в компании с многопудовой бочкой живицы, которая при первых же ухабах проявила зловещую агрессивность, старалась всей тяжестью придавить меня к борту, сокрушить ребра.

Дорога, как только свернули с шоссе, пошла по берегу озера. На закате проехали мимо старинного монастыря. Он стоял на острове, стены и купола подымались из вечерней покойной воды, отражались в ней — красив и недоступен!

Мы въезжаем в былинное прошлое, а лишь сутки назад осатанело топтали кипучий асфальт, пробивались сквозь нескончаемо бегущую толпу прохожих, мотались

на такси по угарным, стадно ревушим, машинным улицам: тупые скаты чудовищных размеров, нависшие — рожки монстров — радиаторы, угрожающе устремленные стрелы самоходных кранов, моторизированные лавинные атаки через перекрестки по бесшумному знаку светофора... Мы сделали крутой вираж во времени и покинули напористый двадцатый век — застойный закат и дремотные купола, вот-вот поплывет по гладкому озеру малиновый звон. Стой! Хватит! Здесь хорошо и покойно. Так можно укатить в первобытность, в глухое и неказистое младенчество человечества! Но расхлябанный грузовик тащит нас, не желает останавливаться — мимо заката, мимо обмерших куполов. И прижатая к борту бочка с тяжелой живицей вырывается. Некогда любоваться былинностью, надо воевать. Я охочусь за бочкой, бочка — за мной...

Утомительная одиссея окончилась ночью в громадной мрачной избе некой тети Паши, заспанной и встретившей нас без особого воодушевления:

— Недельку поживите, а там ищите другую фатеру. У меня, ребятушки, постоянные квартиранты, кажное лето из Москвы наезжают. Вот-вот прикатят.

— Нам бы лодку достать, на озере жить будем.

— Лодку можно...

На следующее утро мы разглядывали Нелюшку.

Лениво, но упрямо подымающиеся вверх поля вместе с разбитой дорогой (по которой мы и добрались сюда) неожиданно заканчиваются могучим, безбожно измятым холмом. За его крутым горбом вольно расселись избы с просевшими крышами. Маленькими оконцами они глядят в темную воду вытянутого, но неширокого озера. Оно так и называется Нелюшкинским, уходит недалеко за пределы деревни и упирается... в другое озеро, уже куда более обширное, заливающее кустарниковые и мелколесные пустоши. Два озера разделяет лишь крутой вал, шириной шагов десять, от силы пятнадцать; жесткая травка на нем, лобастые валуны, искривленный можжевельник. А стоит пройти в противоположную сторону, взойти на взлобок, и за последним домом, за черной банькой, утонувшей в крапиве, стремительный склон, по нему ныряющая веселая тропинка к воде. И дали, дали, притуманенные лесистые берега, темные глубины и просвечивающие кое-где рыжие песчаные отмели — просторные мпр воды и неба, дух захватывает! Нелюшка — восьмое чудо света, воистину!

Майя долго вглядывалась, жадно и вдохновенно, ветерок шевелил ее упрямые волосы. Она с силой выдохнула:

— Хочу во-он туда! — И вскинула руку к далекому дымчатому берегу, и в голосе ее появились знакомые мне повелительные нотки.

— Поплывем туда, где больше всего рыбы, — возразил я.

Она промолчала, почтительно и виновато — диктую я, ей надлежит повиноваться.

— Пошли в деревню, надо договориться о лодке.

И вот мы плывем по озеру, клацают и скрипят расхлябанные уключины. Лодка старая, протекает, Майя время от времени вычерпывает ржавым солдатским котелком воду. Рядом с ней на корме и наш вещмешок. Когда я его вносил в лодку, Майя удивилась:

— А зачем его брать?

— Мы не возвратимся в деревню ни сегодня, ни завтра, скорей всего и через неделю тоже...

— Но где же мы будем жить?

— Под открытым небом, точнее адреса сказать не могу. Сам не знаю.

Посреди залива, длинного, как река, стиснутого с одной стороны крутым травянистым берегом, а с другой — могучим тенистым ивняком, я бросил весла и достал нейлоновую леску с блесной, за отсутствием специального станочка намотанную на обломок штакетника, протянул Майе, кратко объяснил:

— Это дорожка. Когда лодка тронется, не спеша распускай.

— А потом что?

— Потом сиди и жди, начнет дергать — выбирай. Задача не хитрая.

Я взялся за весла, она с усердием принялась разматывать.

— Ой, как красиво блестит в воде железка!

Мое детство прошло на маленькой нутристой речке Пыжма, каждый парнишка в нашей деревне — рыбак, ловили не только ради ребячьей забавы, ельцы и окуньки в голодные годы, право, выручали, как-никак на стол ставились не пустые щи из крапивы и щавеля, а жидкая ушица. Однако рыбаком я как был, так и остался по-ребячьи не просвещенным, до сих пор не знаю городских ухищрений, впервые в жизни пользуюсь леской из синтетики, а не скрученной из конского хвоста — сплошные узлы! — не умею обращаться со спиннингом, зато веревочный перемет



и дорожка привычны, и «клевое место» от «пустоводья» я учую нутром.

Я не спеша греб, стараясь обходить заросшие водорослями отмели, но и не удаляясь от них, проходя по тому рубежу, где рыщет рыба. Клацали уключины, налетал ветерок, рябил воду и почему-то нес с берега запахи свежего сена, хотя сенокосы давно уже кончились. И суетилась в кустах, пересвистывалась птичья мелочь. Майя неожиданно запела тоненьким голоском, счастливо жмурясь на солнышко:

Я помню время-а золотое...

Свистеть и петь на рыбалке — непростительное легкомыслие, по рыбацкой примете — верная неудача. И я сурово прикрикнул на Майю:

— Эй-эй! Рыба песен не терпит!

— Фи! — с сердитой гримаской. — Дышать не даешь в последние дни! — Но сразу же споткнулась, уставилась на меня круглыми, влажно-смородиновыми глазами. — Что-то дернуло... — шепотом.

Я сделал пару гребков.

— А теперь?

— Теперь ничего...

— Наверное, за траву зацепилось.

— Вот опять потянуло...

— Сматывай! — приказал я. — Раз блесна схватила траву, таскать ее с бородой смысла нет.

Она, мурлыкая «Я помню, помню время золотое...», принялась наматывать леску на шпакетину. Я греб и дышал полной грудью, с наслаждением озирался: плоты кувшиночных листьев, черные зеркальца свободной воды в них, горячие звездочки цветов, старые ивы, полощущие свои ветви, — затягивающая душу полуденная дрема. Ничего не было! Не видел чужого лица Майи, не слышал ее чужого голоса.

— «Я помню, помню время-а». — Чуть слышное мурлыканье и сдавленный ужасом выкрик: — Ой! Там что-то есть!

Я бросил весла и ринулся к корме.

Щуренок, черный, с зеленым отливом и золотым выкаченным глазом. По старой привычке я сломал ему закривок и почувствовал на себе взгляд Майи — в расплывшихся зрачках неприязнь, брезгливо замороженные губы.

— Что смотришь? Зверь?..

Она поежилась и не ответила. Я рассмеялся.

— Охотник, Майка. А это добыча...

— А без жестокости нельзя?

— Лучше, по-твоему, чтоб щуренок умирал, медленно задыхаясь? Или не лови, или уж согласишься на охотничью жестокость.

— Жестокость... — повторила она и поежилась.

— Может, не станем рыбалить? А?

Отвела от меня взгляд, взяла в руки щуренка, провела пальцами по темной скользкой спине.

— Бедненький...

Я знал ее характер — девичья жалостливость не помещает страсти. А рыбацкая страсть нешуточна.

Щука мечет икру ранней весной, в пору ледоходов. Но в течение лета на нее полосами находит прожорливость — становится беспокойной, неутомимо мечется в поисках жертвы, жадно хватает наживу, садится на крючки. Полоса прожорливости проходит, и щука становится бездеятельно-ленивой, опускается на глубину, на блесну тогда чаще цепляются окуни. Мы счастливо попали на «щучий жор».

Если нам удавалось провести блесну, не зацепив за траву, то почти всегда жилка вздрагивала и натягивалась, я кидался на помощь Майе, начиналась самозабвенная борьба с сильной, жаждущей свободы рыбой. Тупые толчки из глубины, обмирает и срывается в галоп сердце, едкий пот заливал глаза. У меня не было подсачника, а потому нужна особая сноровка, чтоб перекинуть увесистую щуку через борт, чуть замешкайся, и она нырнет под лодочное дно — прощайся, уйдет. Должно быть, от своих пращуров-древлян, лесных и речных добытчиков, я унаследовал охотничье чутье, помогавшее бессознательно угадывать, какую рыбу вырвать с ходу, какую следует «выгулять». Одним я не давал даже всплеснуть, метр за метром гнал лесу, выхватывал из воды, и эти жертвы, вытянутые, глянцеватые, сохраняющие и в полете свою щучью стремительность, приходили в себя только на дне лодки, начинали неистово метаться, обдавая нас брызгами. Мы с Майей кидались умирать, стучались головами, мешали друг другу, а лодка рискованно — вот-вот черпанет! — раскачивалась посреди озера. Других же, строптивых, я подводил не сразу, то отпускал, то подтягивал, снова давал жалкую свободу — изматывал — и лишь после этого решительно тянул к борту.

Уже с третьей удачи Майя наловчилась схватывать добычу быстрее меня — мои руки были еще заняты деской, — вцеплялась крашеными ногтями в щучий загривок, стара-

лась сломать хребет, и на лице ее появлялось выражение остро-стремительное, хищное, как у ласки.

Пять щук, считая первенца, щуренка-недоростка, — все озерно-темные, глухо-крапчатые! Одну я особенно долго вываживал, все не осмеливался перевалить через борт — не столько длинная, сколько массивная, и едва ли не треть всего плотного тела состояла из чудовищной головы, сплошные челюсти с застывшими глазами. Желтая злоба таилась в глазах даже тогда, когда щука уже уснула. Могучий ее загрохот заломать не смог и я.

## 5

Сосновый лес сбегал с откоса и недоуменно останавливался перед нешироким выглаженным пляжем. Почему-то никто из туристов-дикарей (а их немало плавало по озеру) не облюбовал это место, мы впервые проложили следы босых ног по слежавшемуся песку.

Я соорудил шалаш, не слишком просторный, но добротный, щедро, во много слоев укрытый лапником, — от ливня, может, и не спасет, но обычный дождь в нем не страшен. Пол шалаша я тоже выстлал лапником, а сверху набросал мох, собранный с мест, где рос толоконник — растеньице, обманчиво похожее на бруснику. Там, где оно растет, мох не влажен и не ломок, шелковист. Узкий лаз вместо двери вел в берложий мрак.

— Вот наш дом!

Майя восторженно его оценила:

— Вилла!

Я собрал все старые газеты, какие нашлись у нас в вещмешке, обернул выпотрошенных щук, намочил в озере и законал в горячие угли костра. Немногие знают об этом кулипарном приеме. Мясо такой запеченной рыбы сочно и нежно, хранит все речные запахи.

Так оно и получилось: у запеченных мною щук главным образом преобладал озерно-пресный аромат — я забыл подсолить рыбу. Пришлось присаливать по ходу дела, ели руками, потому что ни ложек, ни вилок у нас, увы, не оказалось, был только большой складной охотничий нож, предусмотрительно купленный мною в Москве. Но он слишком страшен на вид, чтоб пользоваться для еды — зарежешься.

— В жизни ничего вкуснее не ела...

Все-таки нетрудно заслужить Майкину благодарность.

Мы покончили с рыбой, я подбросил дров в костер, а тем временем наступила ночь.

Вот оно... Где-то рядом, в другом запредельном мире стоял лес, где-то в озере всплескивала разгулявшаяся рыба, где-то далеко, на том берегу, надсадно кричал коростель. У Майки освещенное костром лицо накаленно бронзово и неестественно громадные глаза на нем. В них, как выплеснутая луна в застывших омутах, два шевелящихся огонька.

Отрывочные слова, которые мы роняли, не связывались во фразы. Нет, скупы на слова не от лени, просто каждый звук был и так переполнен сокровенным смыслом.

— Казню себя... — тихо произнесла она.

— За что?

— За вздорность.

— Хм!..

— Накажи меня...

— Нет нужды...

— Казнишь же сама...

— Разве?..

— И то верно — сама себя раба бьет...

И пауза, заполненная хвойным лесным шумом и плеском рыбы с озера, длинная пауза, говорящая больше, чем выстраданная исповедь. И покаянность, и всепрощение в минутах молчания.

— Смотри, Луна!

— Да, Луна...

Луна — единственная из внешнего мира, осмеливающаяся заглянуть к нам. И она сразу же стала частью нас. Ни я, ни Майка не упоминаем больше о ней, но думаем об одном — о другом лунном вечере. Луна тогда вела себя странно. Луна объединила нас. Верный друг, навестивший сейчас.

Не отрывая разверстых на огонь глаз, покойных и безумных одновременно, Майка качнула волосами.

— Не хочу...

— Чего?

— Рассвета.

— Будешь рада ему.

— Без конца так сидеть, стать каменной бабой.

— Мне придется стать каменным истуканом.

Она встряхнулась, спугнув с лица пляшущие тени, и засмеялась.

— Ты прав, пусть наступит рассвет!

— До него еще далеко, мы успеем выспаться.

— Пошли помоем руки, они лишние — в рыбе и саже. Мы поднялись и шагнули от костра в плотную стену ночи. Шагнули, прорвали границу тесного мира, и все кругом преобразилось. Новый мир, окружавший нас, не имел ни верха, ни низа. Над нашими головами висело бездонное небо, у наших ног лежало бездонное озеро. Мощный свет луны торжествовал над всем, он светил нам в спину, и на воде не было видно его отражения. Но озеро, пугающе черное, беспроглядное, все до краев заполнено луной. Она остро поблескивает на стыке берега с водой, она рассыпалась бесшумными искрами, играющими на середине. Озеро играло, а небо величаво молчало. Песок, та твердь, на которой мы стояли, был смутно-дымчатого цвета, такими должны казаться ночные облака ангелам под их ногами. А позади волновался покинутый костер, просто костер, уже не центр мироздания. И мрачная, глухая, монолитная, вздыбившаяся до самой луны зубчатая стена леса.

Робея перед величием, мы подошли к самой воде. Майя присела на корточки, запустила руки в воду и тихо ахнула:

— Теп-лая!

Упруго разогнулась, обернулась ко мне — окруженное мраком волос лицо, прохладно-светлое, соперничающее с Луной.

— Хочу выкупаться!

И потянула через голову платье, стала отчаянно бороться с ним...

Она входила в воду робко — шаг, и застывала, собираясь с духом перед шагом грядущим. Бездонность раскинувшегося озера перед ней. А я стоял затаив дыхание, любовался. Луна сверху обливала ее, теперь только ее одну, весь остальной мир сразу потух перед ней, погрузился в непроглядность. Узкая, яркая, струящаяся вниз, от вздернутых острых плеч к ногам, — вся, вся из зыбкого света, несмело льющегося перед опрокинутой, обморочной вселенной! Пронзительно незащитная и владычествующая — Афродита могла родиться только из воды!

Обрывая пуговицы, я рванул с себя рубаху...

Черная устрашающая вода была матерински ласковой, Мы плавали рядом, нешумно плескались, время от времени задевая друг друга то рукой, то ногой. Майя смеялась тихо и судорожно. Ее серебряный нервический смех уносился вверх и тонул под Луной. И долго мы не осмеливались вылезти из нежных, греющих объятий воды.

Зато на берегу воздух был жестко колюч, подхлестывал,

заставлял выкидывать коленца возле разбросанной одежды. Майка топтала под Луной свою тень — ослепительно бледная, скользкая, дикарски неистовая и дикарски откровенная, первобытно не тронутая стыдом Ева. Я сгреб свою и ее одежду, сунул ей в руки.

Рывком обхватил, поднял на руки. В упор уставились ее безумные глаза. Сквозь мокрую прохладную кожу сочились в меня глубинное тепло ее тела.

Прогоревший костер проводил нас в темноте укоризненно багровым оком.

Безумные глаза вплотную у моих зрачков.

А утром мы проснулись, накрытые широкой тенью леса, озеро было невинно розовым и дымилось. Усердный коростель кричал на том берегу.

## 6

Утром мы радовались утру — длинным теням на прохладном песке, листве кустов, отягощенных росой, даже такой малости, как трясогузка, беззаботным аллюрцем гонящая у самой воды: «Эй, здравствуй, живая душа!» Трясогузка нас знать не хочет, трусит себе, трясет отточенным хвостом, никакого внимания, а вот на прибрежном мелководье паника — хлопанье, плеск. Утки! Срываются и летят тяжело, низко, низко, задевая крыльями гладь озера.

Днем мы продолжали радоваться тому, что давал день: скрипящим уключинам, вздрогнувшей леске, золотому окуно, вырванному из темной воды вместе с радугой.

У Майи особый дар радоваться — без восклицаний, без умилений, с благодарной немотой, только глаза углубленно темнеют и лицо непроходяще светоносно, да в губах этакая кроткая повинность. Кажется, ничего ей больше не надо, всем довольна, всего хватает, дышит счастьем, но... жадна до нового — хочу!..

Наткнулись на заводь, заросшую белыми лилиями. Майя, перегнувшись через борт, долго висела над первым цветком, потом разогнулась и потребовала:

— Хочу здесь почевать!

И хотя место для ночевки было не очень-то удобное — сырое, комариное, — мы остались. Она целый день ходила увешанная лилиями, била на себе комаров, ничего не делала, негромко распевала «Я помню время, время золотое...». Тихо счастлива.

Я исподтишка любовался Майей и удивлялся той незримой зависимости, в которой нахожусь от этой девчонки:

не смогу улыбаться, если не будет улыбки на ее лице, не смогу не страдать, видя слезы на ее глазах, не представляю себе жизни без нее, она и есть, наверное, тот высокий, божественный смысл, который люди искали почему-то на небе, — рожден для нее. Назовите это рабством. Нет! Скорей нелегкая свобода, продиктованная необходимостью. Необходима — и все тут!

В очередной раз мы пристали к берегу, чтоб разжечь костер, сварить свою неизменную уху, и наткнулись на мужчину в майке с незагоревшими городскими телесами, худенькую женщину в пестром сарафанчике. Они молитвенно стояли на коленях, голова к голове, раздували костер, который не занимался. Займись он, дай дымок, мы бы проехали мимо, считая этот кусок берега уже колонизированным.

Состоялось знакомство: москвичи, муж и жена, Андрей Петрович и Любовь Казимировна. Он — ученый-медик, не лечащий, а что-то исследующий, она — врач, педиатр. Никакой лодки у них не было, даже надувной, зато за кустами стояли утомленно-пыльные «Жигули». Они свернули подальше с шоссе, чтоб переночевать на берегу. Едут же они, как выразился Андрей Петрович: «Из Москвы в Питер через Бердичев». То есть с заездами куда глаза глядят. Сейчас их занесло на пустынный берег Валдайского озера, быть может, завернут в Старую Руссу, а вообще свой отпуск они собираются провести под Ленинградом, у родственников в Комарове.

Мы с Майей переглянулись.

— Покажем этим бледнолицым, чего мы, здешние старожилы, стоим?

— Покажем.

— У нас в лодке полдюжины окуней и две приличные щуки. Не найдется ли у вас, чем их смочить?

— Найдется, — обрадованно объявил ученый-медик с незагоревшими плечами.

— Тогда задаем бал!

И я занялся костром.

Через час готовая уха в закопченном котелке стояла на траве, в костре доходили до нужной кондиции щуки в «Литературной газете», Майя с Любовью Казимировной сервировали раскинутую простыню. Андрей Петрович делал нетерпеливые круги, торжественно держа за горлышко бутылку коньяка.

Звякнули сдвинутые стаканы и эмалированные кружки.

— За ваше здоровье!

— За ваше!..

И потек разговор, как капризный ручей, с загибами, с застоными заводями, с быстрыми перекатами вспыхивающего смеха, вскипающего спора, но упрямо к одной просторной, как растекшаяся перед нами гладь воды, теме. О чем могут говорить русские интеллигенты после стопки спиртного на берегу необжитого озера, под буйным закатом, когда над сумеречными лесами полыхают нагроможденные друг на друга облака и над черной водой назревает серая пелена тумана? Не о радости бытия, не «остановись, мгновенье», о том, о чем говорят в городе и за семейным столом с загостившимися знакомыми, — о человеческом несовершенстве, начиная с Адама. И, уж конечно, тут каждый — судия и мессия.

Андрей Петрович воркующим баритоном убеждал меня через котелок, опорожненный от ухи:

— Меняется оснащение жизни, а отнюдь не сама жизнь. Люди и сотни, и тысячи лет назад так же, как мы сейчас, страдали от подлости, так же любили и ненавидели, не сильнее, не слабее, не иным макаром!

— Неправда! — резко возразила вдруг Майя.

Андрей Петрович ухмыльнулся со всепрощающим снисхождением к неумудренной юности.

— Вы уверены?

— Я знаю.

— Вам кто-то напентал из прошлого?..

— Сказали вслух.

— Какая-нибудь старушка, божий одуванчик: мы, мол, в наши времена любили иначе. Не верьте — любили так же.

— А если Сумароков из восемнадцатого века сказал, вас это больше устроит?

— Гм... — Андрей Петрович, должно быть, имел весьма смутное представление, кто такой Сумароков.

— Вы не знаете его стихотворения «Тщетно я скрываю сердца скорби люты»? Любовное! Я напомним концовку:

Знаю, что всеместно пленна мысль тобою,  
Вображает мне твой милый зрак;  
Знаю, что вспаленной страстию презлою,  
Мне забыть тебя нельзя никак.

Вот так любили в восемнадцатом веке. А теперь вспомните пушкинское:



Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты...

Чувствуете, голос иного существа, куда более духовно совершенного. Можно в Пушкине представить такие наивные чувства: «...вспаленной страстию презлою»? Не знаю, сильнее ли он любит, но тоньше, глубже, сложнее, совсем иначе, не так, как любили до него. И ненавидел он уже по-иному, и страдал тоже...

Майя приподнялась над измятой обеденной простыней, скулы ее зардели, брови сдвинулись, в голосе появилась уже знакомая мне упругость. И я невольно почувствовал гордость за нее. Наши новые знакомые переглянулись, лицо Любови Казимировны стало почтительно-серьезным. Андрей же Петрович отвел глаза под опаляющим взглядом Майи, решился неуверенно возразить:

— Но это Пушкин... Так сказать, исключительного человека взяли для примера.

Да, после Пушкина уже нельзя стало любить по-старому! Только какой-нибудь приказчик мог признаваться в любви по-сумароковски: мол, я воспален страстию презлою... Для любого и каждого такая любовь казалась смехотворной. А в остальном?.. Можно ли представить, что в восемнадцатом веке кто-то стал бы страдать за Акакия Акакиевича? Забит, непригляден, самая высокая его мечта: «А не поставить ли куницу на воротник!» Потешным казался бы, а в девятнадцатом веке... Достоевский сказал: «Все мы выросли из гоголевской «Шинели». То есть жалкий Акакий Акакиевич знаменем стал. Со времени Сумарокова до смерти Пушкина оснащение жизни не так уж и сильно изменилось — как ездили на телегах, так и продолжали ездить, паровозы появились позднее, как был крепостной строй, так и остался, а вот духовная жизнь перевернулась, иначе любить стали, иначе страдать, иное ненавидеть!..

Чадил костер в стороне, от него истекал во влажный вечерний воздух аромат зашекшихся щук, но никто о них и не вспоминал, все глядели на Майю, стоящую коленями на траве, с гордо вскинутой взлохмаченной головой на тонкой шее.

Андрей Петрович сокрушенно крикнул, произнес:

— А Пушкин-то вроде Иисуса Христа у вас получается.

— Да! Да! — страстно согласилась Майя. — Считают,

великий поэт, и только-то. «Я помню чудное мгновенье...» написал, ах, как красиво! А забывают, что красота — это сила, более могучая, чем оружие. Ни Александры Македонские, ни Наполеоны мир сильно не изменили, а вот создатели Евангелия и Пушкин — да! Вы, конечно, сейчас скажете: изменили, да плоховато, до сих пор жалуемся. Ну, а если бы Пушкиных не было — бр-р-р! — ходили бы, наверное, по земле волосатые обезьяны.

Андрей Петрович поскреб в затылке.

— М-да-а... А стыдно признаться, я Пушкина-то только в школе читал.

— Послушайте, — голос Майи дрогнул. — Отсюда же недалеко до Михайловского... Что вам стоит, у вас же машина... И нас с собой возьмите.

Любовь Казимировна повернулась к мужу.

— Андрюша, откликнись! — Тонем приказа.

Андрей Петрович взял бутылку, посмотрел в нее на закат.

— А рыбка-то там у нас не сгорела?

Я кинулся к костру. Остатки коньяка были уже разлиты по кружкам, когда я вернулся с горячей рыбой.

Андрей Петрович поднял свою кружку:

— На посошок... в Михайловское!..

Выпил, крикнул, объявил:

— А все-таки, уважаемая Майя Ивановна, все-таки у вас упрощенный взгляд на историю...

Ночью я отогнал нашу лодку в Нелюшку.

## 7

Он был грузный, рыхлый, с красным добродушным лицом, золотящимися, едва намеченными бровями и жесткими соломенными ресницами. Ему под пятьдесят, имеет звание доктора наук, заведует исследовательской лабораторией, экспериментирует, публикует статьи.

— Весьма скучные, — вставила Любовь Казимировна.

И сн не возразил, только ухмыльнулся. Мечта его жизни — разобраться в одной таинственной болезни, которая не так уж и часто случается, но еще ни один человек на свете, заболевший ею, не выздоровел. Ни один! Недавно от нее умер академик Тамм.

Она маленькая, худенькая; растрепанно чернявая, как

вороненок, очень некрасивая, если бы не выразительная подвижность ее лица, поминутно изменчивые, умные, обжигающие глаза.

Любовь Казимировна — дочь известного в свое время физиолога, одного из учеников великого Павлова, в сороковые годы заклеянного как противник павловского учения. Отец ее умер от инфаркта, а она стала тем незаметным и незаменимым врачом, который днем пропускает через себя длинные очереди больных детей, а ночами срывается на срочные вызовы.

— Учтите, Павлуша, — обращалась она ко мне, — моя профессия становится редкой. Нынче все медики или учат, или учатся, лечить некому.

И с лукавой искрой косилась на своего ученого мужа.

Минутно острая на язычок, Любовь Казимировна могла молчать часами, оставаться в нашей маленькой компании незаметной. Не в пример Андрею Петровичу, не перечитывавшему со школьной скамьи Пушкина, она даже переводила стихи Гейне с немецкого. Но прочитать нам свои переводы не согласилась.

— У профессионалов с Гейне не получается. А уж у меня и вовсе...

Я замечал, что при дорожных знакомствах люди раскрываются друг перед другом куда охотнее и откровеннее, чем перед старыми, испытанными временем знакомыми. Излить сокровенное случайному попутчику уже потому легче, что можно не опасаться никаких последствий — исчезнет с концом дороги из твоей жизни попутчик, увезет твое сокровенное, не расскажет недоброжелателям, превратно не переосмыслит, дурно не использует, а посочувствовать — да, может! А сочувствие-то не чему-нибудь — сокровенному, оно драгоценно.

Новые знакомые узнали, что мы с Майей только-только поженились, это наше свадебное путешествие. И тогда они поведали нам о себе. Несложную, заурядную историю запоздало исправленной ошибки.

Он был аспирантом ее отца, часто бывал в их доме, и тринадцатилетняя девочка при встрече церемонно называла его «дядя Андрюша». Жизнь разнесла их, у него появилась семья, она тоже вышла замуж. У него выросли дети, у нее детей не было. Встретились снова совершенно случайно через восемнадцать лет! И каждый удивился: она тому, что он хорошо помнит ее, он ей — помнит его. Оба в отдалении друг от друга жили в меру спокойно и в меру благополучно, знали семейные заботы и семейные радости,

работали, даже преуспевали. Но прежнее рухнуло, размеренный покой сменился тревогой, устойчивое благополучие — неустроенностью, простенькие повседневные заботы — неразрешимыми осложнениями. Ему тогда давно перевалило за сорок, ей за тридцать, а они назначали друг другу свидания: «У входа в метро «Парк культуры». И он со своим солидным брюшком, с солидной профессорской физиономией ждал ее с юношеским нетерпением. И неприкаянное сиротство: куда спрятаться от людей, как побыть вместе? И самое неприятное — каждый из них дома был вынужден лгать. Долго терпеть эту унижительную ложь было нельзя, они объявили во всеуслышание. Их осуждали, их презирали, их ненавидели, а они любили друг друга и сами себя тоже осуждали, презирали, порой ненавидели тоже.

Недавно они сошлись, сейчас, как у меня с Майей, у них был медовый месяц, свадебное путешествие. Еще приобретенные в уравновешенной жизни «Жигули» — теперь единственное их имущество и единственное прибежище, даже квартиры нет своей. Вернутся в Москву и будут жить у приятелей, уехавших на год за границу, вновь столкнутся: он — с претензиями бывшей жены, она — с мстительной обидой бывшего мужа.

И все-таки они сейчас радовались — непреодолимое пройдено, они уже вместе, а будущие неприятности не столь страшны по сравнению с тем, что осталось позади. Они нам завидовали, он сдержанно, она восторженно, но оба искренне.

— У вас обычное человеческое счастье, дорожите им. Вовремя увидели друг друга, ни препятствий, ни ошибок, ни провалов. А уж какая это чума — осуждение со стороны, — вы, слава богу, и представить не сможете. Ровной скатертью путь, его можно оценить, когда увязнешь в ямах...

А Майя украдкой косилась на меня теплым глазом.

Дорога длинная, эта история заняла лишь крохотную ее часть. Нам ее доверили, и мы уже к ней больше не возвращались.

Заполнял наш дорожный досуг Пушкин. Даже не столько его стихи, сколько он сам. Я поражался — знаю Майю вот уже несколько лет, но только теперь вдруг открылась мне. Да и сейчас далеко не все ведомо, что в ней лежит. Майя пока выдавала только Пушкина... Она даже внешне изменилась — лицом стала старше, во взгляде убежденная смелость, а меж густых бровей напряженная

складочка, еще не успевшая стать умудренной морщинкой. И все тот же, поражающий меня, упруго звучный голос.

Наши новые знакомые взирали на нее едва ли не с робкой почтительностью — несведущие ученики на наставника, вещающего откровения. А то, что говорила Майя, и в самом деле было откровением. Полное впечатление, что она лично знала погибшего более века тому назад поэта, знала всех его родственников, друзей и даже его самые сокровенные мысли.

И Михайловское ожило для нас еще до того, как мы увидели его своими глазами.

8

Ровно сто пятьдесят лет тому назад, 9 августа 1824 года, в коляске, собравшей пыль российских дорог юга и севера, он въехал сюда, в родовое поместье Ганнибалов «с калиткой ветхою, обрушенным забором». Строго было наказано: «Нигде не останавливаться в пути!» И коллежский секретарь, вычеркнутый по приказу императора из списка чиновников министерства иностранных дел, вынужден был спешить в свою ссылку. Почти две тысячи верст осилили за десять дней, значит, лошадей гнали по пятнадцати, ежели не более верст в час. Скорость для того времени предельная.

За спиной осталась солнечная беспокойная Одесса с ее морем и Хаджибейской бухтой, с кутежами на кораблях, приплывших из дальних краев, с экзотическими личностями, вроде мавра Али, «корсара в отставке», в шитой золотом куртке, обвешанного оружием. Остались пронизательные, любящие поэзию друзья, обаятельные, тонко чувствующие женщины. И театр, где в последний — перед отъездом — вечер давали Россини, оперетту-буфф «Турок в Италии».

И вот глухая псковская деревня: сумрачный сырой бор, тощие пашни, кособокие стожки, свинцовая вода озера Маленца, три сосны на холме — граница владений Ганнибалов. «Все мрачную тоску на душу мне наводит...»

Так же лениво течет в зеленых берегах темная речка, все так же стоят кособокие стожки и тенистый михайловский бор по-прежнему окружает усадьбу, правда, уже музейно обихоженную, не с ветхой калиткой, не с обрушенным забором.

Но безвозвратно уничтожена самая характерная особенность этого уголка старой России — захолустная тишина, окружавшая опального гения. «Незарастающая народная тропа» к этому памятнику превратилась в широкую триумфальную дорогу, пропускающую паломников не только «всей Руси великой», но и всего земного шара. Автобус за автобусом, вереницы легковых машин, мотоциклы, велосипеды, стадные экскурсии и неорганизованные дикари-одиночки, поджарые дамы в брючных костюмах, темных очках, широкополых шляпах и патлатые девицы в заношенных шортах и со сбитыми коленками, бритые молодящиеся старики с походкой вприпрыжку и дремуче бородатые юнцы с выгоревшими рюкзаками на плечах, слоняющиеся вразвалочку, азиаты в радужных халатах и негры подчеркнута европейского вида, туристская деловитая озабоченность — как бы чего не пропустить! — и восторженная экзальтированность, натужная внимательность добродетельного обывателя и отрешенная замкнутость тех, кто еще не теряет надежды без суеты «подышать пушкинским воздухом». И русская речь перемешана со всеми языками мира. И полупраздничная атмосфера массового гуляния. Век девятнадцатый погребен под веком двадцатым, трудно доконаться до былого.

Вот аллея Керн, попробуй сосредоточиться, едвастроишься, едва вызовешь в себе: «Я помню чудное мгновенье...» — громкий, трезвый голос экскурсовода за твоей спиной начинает кому-то вещать:

— Впервые Пушкин встретился с Анной Петровной Керн еще в 1819 году у Олениных...

Но мы были терпеливы, дождались вечера. С рычанием беря крутизну тригорской дороги, ушли экскурсионные автобусы, стало пусто и тихо вокруг.

Мы поднялись на гору, где в тени высоких деревьев старые могильные плиты покоили под собой прах Осиповых и Ганнибалов, вышли к обрыву, к знаменитой онегинской скамье. Здесь любил сидеть поэт и «даль свободного романа» как «сквозь магический кристалл, еще неясно различал». Уселись рядом на этой скамье и мы, надолго притихли.

Длинные вечерние тени пересекали зеленый луг с ныряющей по нему речкой, дремотно темнел михайловский бор, в лиловом мареве утопали дали. Лицом к лицу с нестареющим бытием, лицом к лицу, как он полтора года лет тому назад.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!  
В уединенье величавом  
Слышнее ваш отрядный глас...

Он был очень юн, когда написал эти строки, ему едва исполнилось двадцать лет, но уже страдал той всеобъемлющей болью, которая убийственна для себя, целителя для человечества.

Оракулы веков!.. Он стал одним из них, отрядный глас которого несется через столетия ко мне, кандидату биологических наук, занимающемуся странным для Пушкина делом — изучением поведения мельчайших организмов в почве.

Он, собственно, учил насущно простому — как любить и как ненавидеть, что прощать и к чему быть беспощадным, уметь чувствовать и поступать. Насущно простое, без этого человек не может жить среди людей.

Но простое не значит легкое, к заветной простоте, как правило, пробиваются через путаницу сложных понятий. И я не могу похвалиться, достиг ли нужной простоты в отношениях с другими людьми. И никак не поручусь, что у меня с Майей не возникнут досадные — не дай бог, того хуже — сложности. Мне кажется, что нельзя любить сильнее, чем люблю ее я. Мне кажется, но... Могу ли я, если вдруг она от меня отвернется, сказать ей с таким всепрощающим великодушием, как когда-то сказал Пушкин:

Я вас любил так искренно, так нежно,  
Как дай вам бог любимой быть другим.

Ой, нет, не убежден.

Или же...

Свободы сеятель пустынный.

Я вышел рано, до звезды:

Рукою чистой и безвинной

В поработанные бразды

Бросал живительное семя...

Я прокляну себя и свою судьбу, если не сумею что-то посеять для других! Но сумею ли я выстоять, если эти другие станут с равнодушием топтать мой посев?

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Пушкин и после этого откровения продолжал бросать живительные семена, не упал духом. Сумею ли я?..

Я сидел на краю онегинской скамьи и смотрел вниз. Те-

ни накрывали зеленый луг, тускло тлел на закатном солнце отягощенный старостью михайловский бор, дали сгущались в тревожную грозовую просишь.

Достойный ли я ученик тех великих оракулов, что учили чувствовать благородно и поступать правильно?

Как я проживу свою жизнь? Не наделаю ли непоправимых ошибок? Не сорвусь ли в суетность?

Не обману ли я надежды Майи, встречей и сближением с которой считаю себя не по заслугам осчастливленным?

Я оглянулся на Майю, ее профиль был строг и чист, глаза устремлены вдаль, губа в скорбящем изломе, руки сцеплены на коленях. О чем она думает? Не о том ли самом, что и я?

Спасибо Майе, она подарила мне эту очищающую минуту! Буду помнить ее всю жизнь.

Спутники наши тоже пребывали в сосредоточенном молчании.

«Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!»

## Глава четвертая

### СУМЕРКИ

#### 1

Мы вернулись домой. Нас ждали новости.

Майин отец после сдачи очередного объекта переведен с повышением. Раньше он намеревался подать в отставку, перейти в гражданские строители, теперь от этого, похоже, придется отказаться. Не исключено, его ждут генеральские погоны.

Майина мама начала вести переговоры о квартирном обмене. Операция сложная, многоступенчатая, быстро ее не провернешь, но можно все же рассчитывать, что где-то через год, никак не раньше, мы будем иметь отдельную двухкомнатную квартиру на той же улице, где живут и Майины родители.

А Боря Цветик разбил свой «пожарный» «Москвич». Вины его в том нет. У тяжелого самосвала, шедшего впереди, на ходу слетело колесо, ударило в «Москвича», смяло крыло с фарой, повредило переднюю решетку и капот. Хорошо, что обошлось без увечья.



Но самая большая новость ждала меня в лаборатории. Для посторонних эта новость никак не могла казаться значительной. В стеклянной колбе, спрятанной от света в шкаф, в некоем мутном студне появились пятна со ржавым оттенком — подумаешь, какое событие! И в самом деле это означало лишь то, что один из видов бактерий, накапливающий азот из воздуха, сейчас плодился в стекле. Возможность такого события я робко предсказывал еще два года назад и, признаться, не рассчитывал, что оно случится так скоро.

Пустяк? Пожалуй.

Но в исключительно редких случаях такие вот пустячки переворачивали существование всего рода людского.

Когда над Европой минули наполеоновские войны, а сам Наполеон еще сидел на острове Святой Елены, копенгагенский профессор Эрстед, показывая студентам опыт с гальванической батареей, заметил, что стрелка компаса, случайно лежавшего рядом с проводом, отклоняется в сторону, если включают ток. Маленькое движение стрелки — пустячок, а с него и началось: закрутились роторы генераторов, по континентам протянулись высоковольтные линии электропередачи, промышленность стала развиваться небывалыми темпами, мир заполнился разнообразными машинами, появились радио, телевидение, изменились мы, изменилась наша жизнь, изменилась планета. А все с не замеченных историками пустячка...

Казалось бы, я должен ликовать, но...

Но сам факт размножения бактерий в стеклянной колбе становится важным лишь тогда, когда удастся раскрыть их тайну тайн, заповедный секрет: как и чем они раскалывают непосильную даже для человека за его могущественной техникой молекулу атмосферного азота? Об этом еще никому ничего не известно — желанное в яичке, яичко в уточке, уточка в небесах! Возможно, даже наши редкостные бактерии если еще сейчас не потеряли, то, не исключено, могут потерять свою неведомую силу. Возможно, в искусственной среде они вырождаются в ничем не примечательных микробов, способных лишь к бесхитроственному размножению. А возможно, наконец, что и наш эксперимент недостаточно чист — выводы преждевременны, радоваться погодя. Даже если и все благополучно, то впереди тысячи задач, и не обязательно каждая из них должна иметь ответ. Зато впереди обязательно неудачи, без них никогда не обходится...

А потому Борису Евгеньевичу я сказал:

— Свежо предание, а верится с трудом.

Он понимающе кивнул головой.

Однако дома Майя, готовящая ужин, с любопытством приглядываясь ко мне, спросила:

— У тебя сияние ото лба. Что случилось?

— Нашел перо жар-птицы, только боюсь, не обронил ли его обычный павлин.

— Ну-ка! — Командным голосом: — Садись ужинать и рассказывать!

Сама села напротив, подперла щеку кулачком, в глазах притаившиеся бесенята, во взметнувшихся бровях замершее бабье счастливое любопытство. Она ничего еще не ожидала в те дни от жизни, кроме удач, она убежденно верила, что любая новость, — непременно радость, иной быть и не может.

Перед Борисом Евгеньевичем, умудренным и скептическим, я просто не мог не высказывать озабоченного сомнения: «Свежо предание...» А перед Майей?.. Кому мне поверить свои тайные надежды, как не ей!

Родила царица в ночь  
Не то сына, не то дочь;  
Не мышонка, не лягушку,  
А неведому зверюшку...

Зверюшка родилась у нас, Майка, ин витро, в стекляшке. Долгожданная...

Она не переставала глядеть на меня с ожиданием, детским и жадным, и мое воображение разыгралось.

— Улучшенные почвы, высокие урожаи, Майка, — это, конечно, благо, да! Но еще не все, наверняка не конечная остановка. Наши зверюшки черт-те какую дверь перед нами распахнут. Уж если будет открыт их секрет — скажем, вещество, которым они мертвый азот делают живым, — то это, возможно, станет таким ключиком, какой пока держал в руках лишь один господь бог. Взнуздать азот, приказывать ему: связывайся с такими-то и такими-то элементами — значит научиться творить живое. Принципиально возможно объединить знания о наследственности, то есть секреты генов, с нашим секретом, тогда появится возможность искусственно создавать особые растения, какие-нибудь сказочные яблони с золотыми яблоками, или особую мышечную ткань, способную заменить теперешние двигатели, воняющие и с низким КПД... Все фантасты, Майка, представляют сейчас будущих роботов в виде эдаких железных шкафов с железными руками и ногами — монстры

с начинкой из радиодеталей. А почему бы не представить их из живой ткани, из мышц, костей, внутренних органов — да, искусственно выращенных. И можно добиться, что питаться такие роботы будут самым дешевым на земле веществом — тем самым мертвым азотом, из которого состоит наш воздух. Не все, ох, не все боги твари на такое способны. Кто знает, что нам поднесут зверюшки? Может, и ничего, кукиш незримый, а может... Может, новый мир, совсем, совсем не похожий на наш нынешний!

И Майка, каменея вскинутыми бровями, впитывала мои слова. Я не обманул ее ожиданий, я сумел ее удивить.

Я излился, и мне стало стыдно за себя — еще ни с кем так не разговаривал, так не распускал свою фантазию. Эка, в какие тартарары меня занесло — к биороботам! Но ведь я это не кому-то, а Майке! Из всех людей она одна способна сводить меня с ума, я и раньше обещал ей невозможное — перпетуум-мобиле изобрету!

Наконец она пришла в себя, пошевелилась и произнесла:

— Слушай, я хочу их видеть.

— Кого, Майка?

— Ваших неведомых зверюшек.

И я окончательно вернулся на землю: ну все, сегодня она от меня потребует — покажи зверюшек, завтра — биологического робота! Терпение и умеренность, как известно, ей не свойственны.

— Майка, да они же невидимы... Так, грязные пятна.

— А в микроскоп?..

— И в микроскоп они не красавцы, вульгарная амеба куда внушительней, а какой-нибудь циклоп и вовсе Аполлон перед ними.

— Нет уж, ты мне их покажешь... И вообще я еще ни разу не бывала в твоей лаборатории... У меня идея...

Я невольно сжался — идеи ее всегда были для меня небезобидны, а тут они ворвутся в нашу лабораторию, оглушат моих сотрудников, того и гляди перевернут все вверх дном.

— Давай, Павел, обмоем рождение неведомых зверюшек.. Хочу! У вас в лаборатории! Наконец, с твоими со всеми познакомлюсь... Пора же.

Обмывать положено не закваску в квашне, а готовый пирог. Но в одном-то Майя, как ни крути, права — пора ей сойтись с моими ребятами! В конце концов, почему бы и не устроить сабантуй, разумеется, самый умеренный.

Меня всегда удивляет, как внушительно выглядят экспериментальные лаборатории на экранах кино и на фотографиях популярных журналов — святилища, где священнодействуют жрецы науки! Я видел разные лаборатории — многозальные, многоэтажные, и тесные конурки, где копаются несколько человек, — ни одна не похожа на другую, у каждой свое лицо, но у всех есть нечто общее, роднящее — отсутствие парадности, видимость неустроенности. Даже те, которые были созданы во времена оны, прославлены, видели в своих стенах корифеев, даже они, если не стали показательно музейными, а продолжают добывать знания, кажутся всегда не до конца обжитыми, несколько неуютными. Рабочая лаборатория постоянно меняется, переустраивается, всегда в ней что-то сооружено на скорую руку, что-то еще не доделано, некогда подумать о внешнем виде, а потому стулья разнокалиберны и колченоги, а лампочки под потолком казенно голы, не осенены абажурами.

Наша лаборатория занимала нижний угол нового корпуса — «краеугольный камень института», шутили мы без гордыни. Две большие комнаты друг над другом, одна в полуподвале, другая в бельэтаже, переборками отгорожены зачатки — «архивная» и мой утлый кабинет с конторским столом и продавленным диваном. Стены, крашенные охрой, давно утратили первобытную свежесть, их удручающего впечатления не могли скрасить ни элегантные, новейшей конструкции вытяжные шкафы, ни эмалево-белые холодильники.

Майя свято верила, что я пахожусь на самом передовом рубеже науки, а раз так, то и мое святилище должно выглядеть по-передовому, как в киножурналах. Я видел разочарование на ее лице — ничего многозначительного и таинственного, умопомрачительно сложного, командую бесчисленными рядами пробирок, скорей какие-то научные задворки, чем блистательный передний край.

Длинный стол в верхнем зале был освобожден от приборов, на листах стекла, которые служили полочками для чашек Петри, горками готовые бутерброды, в фаянсовой смесительной ванночке яблоки, вместо стаканов и рюмок мензурки, бутылки сухого вина и красного сладкого для любителей, в двух огромных колбах — эликсир собственного изготовления. Слава богу, мы достаточно изощрен-

ные химики, чтобы выгнать с чистотой слезы, нужным градусом, вкусом и запахом.

Сабантуй в стенах нашей лаборатории — не такое уж и редкостное явление. В исключительных случаях они даже негласно санкционировались начальством, например, почтить какого-нибудь зарубежного гостя, не настолько крупного, чтобы чествовать его всем институтом. Чаше же сабантуями и сабантуйчиками мы отмечали успехи своего автономного офиса — отмечены в печати наши общие усилия, получены долгожданные результаты или не менее долгожданная, нужная до зарезу аппаратура. Частные празднования, как-то — обмывание диссертаций, публикаций, в равной степени и дни рождений — мы проводили на стороне, в каком-нибудь ресторане города. В ходу у нас был лозунг: «Сабантуй — не праздник, а культурное мероприятие!» Он приобрел силу закона.

Этот закон не нарушился и сейчас — отмечали полученный результат. Однако две уступочки. Первая: результат еще недостаточно надежный, чтоб его обмывать. Вторая: присутствие Майи, человека, к результату не причастного, зато причастного ко мне, «главному имениннику». Уступки были приняты всеми как должное.

Я восседал на «председательском конце» стола, Майя — по правую от меня руку. Она тянула шею, крутила головой, округлившимися глазами следила за моими шумными и бесцеремонными сотрудниками.

Наше маленькое общество не лишено кастовости, правда, самой примитивной — есть так называемые коренники, есть «пристяжные», других нет. «Коренники» — тот, кто тянет воз и сам для него выбирает путь. «Кореннику» даже разрешается уходить иногда в сторону от нашей общей дороги — самостоятельная сила, которую если я и взнуздываю, то с оглядкой и осторожностью. «Пристяжной» своего воза не имеет, припрягается, куда укажут: лаборанты, практиканты, разного рода подсобники. Впрочем, среди подсобников есть такие, с которыми я считаюсь не меньше, чем с «коренниками», например, Гриша Мурашов, мастер-стеклодув, парень с золотыми руками и высокой амбицией. Я перед ним заискиваю столь же часто, как часто требую невозможного — скажем, такого витиеватого узла трубок с крапиками, какой доступен лишь моему изощренному воображению.

Я глядел сейчас на своих глазах Майи и понимал, что ей должны не нравиться «коренники» — развязны! — и

вызывать симпатию «пристяжные» — сдержанны и скромны!

Колбы с «домашним» эликсиром пошли по столу из рук в руки, сосед Майи, мой заместитель, тоже кандидат наук Никита Великанов галантно наполнил Майину мензурку.

— Фирменная микстурка, пользуется широкой славой, не попробовать ее в этих стенах просто непозволительно.

Он забыл лишь упомянуть, что микстурка имела более высокий градус, чем стандартная русская водка.

По традиции сабантуй открывал я, а потому встал, поднял мензурку:

— Знаете ли вы, что такое солнечный зайчик?

Никого не удивил этот вопрос, ибо все от меня ждали именно какой-то нелепости. Послышались услужливые ответы, не менее нелепые:

— Неуловимый зверь!

— ...И шкуру которого не поделишь.

— Видимость и нечто!

— Ну так этот зверь заскочил к нам,— продолжал я.— Что может означать сей визит?

— Лишний повод к лирическому настроению!

— Или оптический обман!..

— Куцее мышление! — возмутился я.— Если есть солнечный зайчик, то, значит, есть и само солнце!

— А может, этот зайчик отразила разбитая бутылка!

— Может, и бутылка, но отразила, а не родила сама светлого зайца. Он есть, он нам посветил, выпьем, друзья, за этот неверный проблеск!

Выпить не отказались, дружно чокнулись, дружно опрокинули, и лишь после этого запоздалое возражение:

— Почему все-таки неверный?..

Возразила Галина Скородина. Идея светлого зайца — того многообещающего штамма — была моя, но вырастила его она, Галипа, мой ассистент. Светлый заяц был ей сыновья дорог, верила в его реальность и в его великое будущее, всякие сомнения в нем принимала как личные оскорбления, тем более ранящие, что любой и каждый из нас носил в себе невольное подозрение: а достаточно ли чист был проведенный эксперимент?

Отвечать Галине мне не пришлось, это взял на себя Никита Великанов:

— Сивилла Кумская, посмеешь ли ты предсказать нам, что за куцый хвост этого зайца мы непременно вытя-

нем ясное солнышко, а не пустую бутылку. Проблеск, святая пророчица, уже потому сомнителен, что он слишком ярок, что слишком точно и вовремя упал в нужное место...

Никита Великанов — Фома неверующий среди нас, роль неблагоприятная, но необходимая. На каждое наше «да» он обязан говорить «нет» и аргументировать свои сомнения, а значит, заставлять нас проверять и вновь перепроверять себя. Никита доблестно справлялся с обязанностями оппортуниста, постоянно порождая яростные споры.

Заспорили все разом и сейчас, лирический образ светлого зайчика сразу же улетучился, вместо него хлынул поток сухих ученых фраз:

— Вероятность мутации!..

— Утлая жестокая детерминация!

— Возможность рекапитуляции!..

Майя тянула шею, напряженно вслушивалась в этот несваримый для нее галдеж, явно чего-то жадно выжидала. Впрочем, мне ясно, чего именно. Она ждет продолжения нашего разговора. Не дай-то бог ей заняться выяснением — обсмеют! И ее, и меня!

Дома перед этой встречей я, правда, попытался дать отбой перед ней, просил забыть все несусветно фантастическое, что нагородил. Но разве можно заставить забыть Майю то, чем она загорелась? Вслушивается, настороженно посверкивает глазами, ждет...

Нет, она не услышала мсей немотной мольбы, улучив секундное затишье в споре, робко спросила. Впервые ее голос прозвучал над столом, непорочно чистый, детски простодушный:

— А почему вы ничего не говорите о почвах?

Все уставились на нее недоуменно.

— О каких почвах? — любезно поинтересовался Никита Великанов, привыкший на лету улавливать запах жареного.

— Да о тех, неплодородных...

— Не совсем ясно. Расшифруйте.

— Ну, которые ваши азотобактеры могут сделать плодородными.

В нашем фантастическом разговоре облагороженные азотобактерами почвы были началом начал, настолько очевидным, что уже не могли вызывать какие бы то ни было сомнения. А для всех здесь сидящих заветные почвы находились за гранью возможного, о них никто не смел еще и думать.

Никита Великанов, этот беспощадный бретер наших

диспутов, вдруг смутился. Я не успел прийти на помощь, ответила Галина Скородина, как всегда, сухо и агрессивно деловито:

— О практическом применении думать рано. Да и не наше это дело!

Галина Скородина из тех, кто пламенно любит науку, но не пользуется ее взаимностью — ей давно за тридцать, а все еще ассистент: угловатые плечи, плоский бюст, крупное лицо с мужским волевым подбородком.

Майя просительно оглянулась на меня, а вместе с ней уставились на меня все. А я... я почувствовал, что краснею.

— Но как же так: практическое — не ваше?.. А для чего тогда вы все это делаете? — Влажные глаза, смущенный румянец, растерянный голос. Майя и не подозревала, что ученые не меньше поэтов презирают утилитаризм.

— А для чего птица поет, цветок распускается? — вопросом на вопрос снисходительно ответила Галина и победно повела своим мужественным подбородком.

Никита Великанов любезно пояснил:

— Королева хочет сказать, что ей безразлично, кто понесет за ней ее шлейф.

— Королева?.. Шлейф?.. Найти и позади себя оставить — будь что будет, неинтересно. Это все равно что матери родить сына и подбросить его другим...

Майя продолжала оглядываться на меня, ждала помощи, а я... я боялся ее в эти минуты: простота хуже воровства — вот-вот наивно ляпнет про биороботы, что ей стоит.

Мои ребята называли себя «джентльмены удачи», я же для этих «джентльменов» был суровым капитаном, всегда жестоко требовавшим: «Не возносись на воздушных! Святы для нас только факты. Все, что сверх, то от лукавого!» Я чаще других употреблял как ругательство «маниловщина». И вдруг откроется, смех и грех — возмечтал черт-те о чем, строю тайком воздушные замки, мальчишествоую. То-то все будут опарашены, хоть сквозь землю провалились.

— А можно представить себе и другую мамашу, которая, не успев еще разродиться, заказывает для будущего сына генеральский мундир или мантию академика, — отчеканила Галина Скородина.

— Вы никогда, никогда не мечтаете?

— Какой прок в этом?

Майя решительно повернулась ко мне.



— Павел, они шутят?

— Майя... потом тебе все объясню.

Должно быть, моя физиономия была слишком красноречива — боюсь невольного предательства со стороны Майи. Она это наконец учуяла и вспыхнула возмущенно:

— И ты!.. Ты тоже!..

— В нашей кухне, Майя, не говорят о скатерти-самобранке.

— Ты стыдишься!.. Меня?.. Пусть! Но себя-то зачем?.. Ты так красиво говорил...

— Майя!..

— Да что Майя!.. Говорил, что после вашего открытия станет возможным то, на что замахивался сам господь бог. Живое будете создавать — мышцы искусственные вместо двигателя...

— Майя!!

Она опалила меня взглядом и отвернулась в угол. Наступила тишина, всегнулись к столу, прятали корящую неловкость. Я знал, сегодня все, собираясь на сабантуй, сгорали от любопытства: что за жену выбрал себе капитан? Верили, не ошибусь и тут. И вот опущенные глаза, сочувствие...

### 3

Шли домой по бульвару, шагали локоть к локтю и — молчали яростно и упрямо. Стоял тихий свежий вечер — самый конец августа, было слышно уже, как с сокрушенным шепотом падает лист с деревьев.

Локоть к локтю, и каждый ждал выпада, был готов ответить.

Не выдержала она, сорвалась первая.

— Павел... ты иудушка!

Чуть слышно, с придыханием.

Я только что пережил унижение перед своими товарищами по ее милости! Я кипел гневом, а потому на резкий выпад ответил грубо, с ожесточением:

— Ты бы еще повторила всем, что я тебе говорю в постели. Люди добрые, у нас от вас секретов нет!..

И она обомлела:

— Ка-ак? Ка-ак ты смеешь?!

— Ах, тебе не нравится! Ну так мне тоже не доставляет удовольствия выглядеть круглым дураком.

— Ты подделываешься под дураков! Да! Да!..

— Как ты смеешь судить о них, если не представляешь, чем они живут, о чем они думают!

— Уткнулись в свои пробирки — ни видеть, ни чувствовать ничего уже больше не могут.

— Ну так вот, я из них самый пробирочный по характеру!

— Очень жаль, что ты так поздно в этом признаешься!

— Поздно признаюсь?.. А разве была нужда? Или я скрывал от тебя, что занимаюсь пробирочным? Или не говорил тебе ни разу, что именно из лабораторной пробирки пытаюсь выудить золотую рыбку, которая вдруг да сделает людей чуть счастливее?..

— Счастливее?.. Да вам же дела нет до людского счастья! Эта твоя с лошадиным лицом... она о нем и слышать не хочет! Ей главное — найти новенькое, полюбоваться, себя потешить, а там... Там ей плевать, что будет.

— Плевать?.. Нет! Мы не в пример какому-нибудь Гоше-пророку боимся иллюзий. Мы знаем, как легко обмануться, а значит, и других обмануть. Обман же мы считаем преступлением!

— А передо мной недавно зачем-то ты другим прикидывался, сказки рассказывал, иллюзиями потчевал.

— Перед тобой мог, перед ними не имею права!

— Да не виляй, я же видела, ты просто боялся быть перед ними самим собой, а потому... потому сразу же меня предал!

— Перед этим, не забывая, ты предала меня!

— Ага! Вот ваша высокая честность: обман — преступление! Друг перед другом раскрыться боитесь! Это не обман?..

— Выступить перед ними в роли, в какой я бываю с тобой?.. Не смешно ли?..

— Тогда какая же твоя роль настоящая, когда ты с ними или со мной?

— Та и та настоящая. Поднатужься и представь, что такое вполне быть может.

— Как же, представляю. Господь бог выступал в трех лицах, ну а ты поскромнее — всего двуличный!..

Стоял тихий свежий вечер, а мы шли и ругались, сварливо и самозабвенно доказывали друг другу — плохи, ущербны, обременены пороками. Мне, что называется, попала шлея под хвост — не уступал ни в чем, считал себя оскорбленным, изо всех сил старался взять реванш.

Утром мы продолжали дуться, но я уже испытывал стыд, раскаяние и острое недовольство собой. Так ли уж не права Майя: оказалась одна в чужой для нее компании, ждала от меня поддержки, а я... Нет, конечно, я не предал ее, но, право же, трусливо отстранился, а потом мелочно обиделся, помог раздуть чадное пожарище. Гадко!.. Я первый стал делать всяческие пасы к примирению, и Майя сдалась, мир в конце концов наступил.

Но что-то после этого между нами лопнуло, какая-то важная связь. Я чувствовал, Майя не может забыть унижения и враждебности, которые она испытала за большим лабораторным столом. Даже нечаянное напоминание о чем-либо, связанном с лабораторией, вызывало теперь у нее сразу или отчужденную замкнутость, или открытое раздражение: «Не хочу слышать! Отстань!» И говорить о моей работе стало опасно — мог нарушиться мир в доме.

А я каждый день уходил в институт, каждый день там что-то случалось — мелкие радости, мелкие огорчения, я ими жил. Жил и прятал их в себе, не смел сообщать Майе. Какая-то ее сторона вдруг оказалась для меня омертвелой.

По вечерам нам вдруг стало пустынной и скучней. Прежде для нас и молчание и болтовня были естественны, в голову не приходило искать повод для разговора, зачем, сам найдется. Сейчас же я постоянно спохватывался: а не слишком ли долго торчу за столом, ворошу оттиски и журналы? Не тяготится ли Майя в одиночестве? И я поспешно рассовывал все по ящикам, поворачивался к ней, два, три ничего не значащих слова и... сказать уже нечего. Надо мучительно искать тему для разговора.

Теперь нам стали доставлять радость неожиданные гости. Чаще других к нам являлся Боря Цветик, почти всегда без предупреждения, наскоком, и почти всегда он задерживался допоздна. Начиненный городскими новостями и свежими анекдотами, в шуршащей импортной куртке, открывающей широкую накрахмаленную грудь, лицо сдобное, румяное, в серых навывкате глазах влажное, ласковое благодушие, и тонкий запах одеколона «Атлант».

Он уходил, но занесенное им благодушие оставалось. Мы продолжали судить и рядить, не беспокоясь, что тема разговора иссякнет.

Чаще всего мы обсуждали самого Борю Цветика.

— Сколько он лет ездит уже к Лепочке в Комплексное?

— Много. Я еще в школе училась, как Боря вынырнул.

- И пропустил ли он хоть одну неделю?
- Когда свой «Москвич» разбил, ездил на электричке и непременно с цветами.
- Так почему они не женятся?
- Подозреваю, Ленка не хочет. С Борей же сутки в неделю провести приятно, больше — наскучит.
- Но Ленке не так уж и мало лет.
- Ну и что?
- Да то. За сомнительное счастье — раз в неделю встречаться со скучным человеком — терпеть неопределенность, продвигаться к старости. Нет, что-то тут не вяжется...

Прежде мы часто спорили, и по-крупному, на сугубо отвлеченное — иллюзии и действительность, смерть и бессмертие, — теперь нас устраивало и мелкотемье, почти что сплетни.

А тем временем пришел сентябрь с обложными облаками, с морозящим дождем, с ветром, срывающим листья на городских скверах. У Майи начались занятия в пединституте.

4

Наш промышленный город жил киловаттами электроэнергии, тоннами металла, кубометрами обработанной древесины. В нем было несколько высших учебных заведений, пользующихся достаточно широкой известностью, — физико-технический институт, институт древесины, агрохимии и почвоведения, с которым связал свою жизнь я... Пединститут, увы, был пасынком города. Он выпускал не промышленных специалистов, не научных работников, а школьных учителей. На областных конференциях, на страницах местных газет постоянно можно услышать и прочесть о высокой роли учителя, об уважении к нему. Но школьный учитель не помогал выполнять квартальные планы, снижать затраты, подымать производительность, а потому снять перед ним шапки готовы, подкинуть же средств — извините, не можем, нужны на другое. Остальные институты расширялись, расстраивались, обеспечивали себя сильными кадрами, педагогический ютился в старом здании, преподавательский состав в нем часто менялся, а его студентами, как правило, становились те, кто не сумел пройти по конкурсу в другие вузы. Или же вроде Майи, которых не привлекали ни инженерия, ни древесина, ни проблемы урожайности, а бежать от этого в нашем

городе некуда — только в пединститут, где существуют гуманитарные факультеты.

И какой-то поэт-неудачник, проходивший сквозь сей институт, оставил на память стихотворенье, передававшееся от старшекурсников абитуриентам:

Старый лозунг и священный:  
Знание — свет, незнание — тьма!  
В педобожий дом казенный  
Засвятошило меня!

Майя нет-нет да и вспоминала его, явно тоже жалела — «засвятошило в педобожий».

Начались занятия. Навряд ли можно ждать — внесут разнообразие в жизнь Майи, а через нее и в мою.

Однако неожиданное все же случилось...

Как-то вечером Майя пришла с увесистой пачкой книг, с пылающим румянцем и горячечным блеском в глазах. Шмякнула книги на пол у порога, выскользнула из плаща, торжествующе на меня уставилась и объявила:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! И у нас иногда пробивает!.. Так-то!.. Хочу есть!

За столом она мне сообщила: будет проводить показательный урок в школе! Казалось бы, новость так себе, самая умеренная. Майя еще в прошлом году проходила практику, давала уроки. Но дело в том, что на этот раз тема показательного урока — Пушкин.

— Паша, я, оказывается, тщеславна... Паша, я хочу, показать старичкам, на что способна! Ты же знаешь, Александр Сергеевич — мое заветное. Вот я и выдам без утайки своего Пушкина! Нет, нет, не «цветок засохший» в школьной хрестоматии — живого! Могу! Могу! Уже сейчас во мне кипит и рвется наружу, надо только выстроить...

И, как всегда в счастливые минуты, ее глаза становились отчаянными.

— Паша-а... «Педобожий дом казенный» — в нем скука, в нем рутина, никто ничего уже там не ждет друг от друга. А вот я всем... Понравится или нет — да плевать! — лишь бы увидеть, что проняла...

Ее безумие всегда передавалось мне.

В нашу тесную уютную квартиру ворвался вселенский хаос — книгами завалена тахта, книги на стульях, книги громоздятся на столе, даже в углу возле дверей стопа книг. Большинство из них не открываются, нужны лишь, чтобы своим присутствием напоминать о важности свершающегося момента — Майя в творческом порыве, не шути!..

Я выселен из комнаты на кухню, но не забыт, едва ли

не через каждые пять минут раздается клич, меня призывающий:

— Павел!..

И я мчусь сломя голову, зная наперед, что ничего особого не случилось — очередной раз должен разделить восторг перед гением Пушкина.

Возок несется чрез ухабы.  
Мелькают мимо будки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды,  
Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах  
И стаи галок на крестах.

— А!.. Фейерверк! Можно ли ярче сказать о городе?! И какова скорость? Чувствуешь? Нашему веку, севшему на машины, не угнаться.

И невольно поражаюсь, нет, даже не гению Пушкина, а себе: читал же это место, даже запомнил его, но почему-то ничуть не удивился, принял как должное, как само собой разумеющееся.

Мое скрытое удивление видят, его по достоинству оценивают, торжествуют и... гонят вон, чтоб не мешал. Я ухожу, почтительно унося в себе выплывшую из прошлого счастливо-неструю картину: «...И стаи галок на крестах».

Перед сном мы голова к голове подбиваем итоги дня.

Я не могу забыть Майю на берегу Валдайского озера: еле чадящий костер, смятая на траве простыня-скатерть, тихая-тихая гладь воды и она на коленях, взвинченная, горячая. Она тогда нам открыла нечто поразительное — революцию в любви, от скудной к богатой, от Сумарокова к Пушкину! Я хочу, чтоб то же самое она открыла на уроке и ребятам. Перед ней будут сидеть не малыши, а пятнадцатилетние юноши, поймут.

Она соглашается со мной:

— Поймут, но мне того мало. Пушкин велик, Пашенька, за сорок пять минут хотелось бы пробежать от подножия к вершине, да еще успеть кинуть вниз взгляд.

— По всей горе скоком? Зачем? Открой один склон — достаточно.

Я отбиваю у нее куски рукописи — на выброс, она их храбро защищает, но в конце концов сдастся. И это, право, льстит моему самолюбию...

Теперь я стараюсь не задерживаться в лаборатории по

вечерам, спешу домой — да, чтоб сидеть на кухне и ждать придушенного восторгом крика: «Павел!..» Дома пылче суматошно и радостно вечерами. И когда я наскоро свертываю свои дела в лаборатории, то улавливаю сочувственные, иногда ироничные, иногда сокрушенные взгляды — попал под каблучок! Не скажу, что это не огорчает меня. Хотелось, чтоб в какой-то момент, тоже решающий и горячечный, Майя была со мной вплотную, так же как я с ней сейчас. Но тогда ей неизбежно придется сталкиваться с моими товарищами, а они не принимают ее, она их. Жаль...

Вечером накануне знаменательного дня я вернулся с работы, она не слышала, как я вошел, дверь в ванную была открыта. Майя стояла перед зеркалом в позе Жанны д'Арк — воинственная вещательница! — и вещала своему отражению о сокрушительной силе пушкинской лирики. Я замер, боялся шевельнуться, долго слушал...

Неосторожный скрип паркета под ногами заставил ее обернуться. Она смутилась, но не очень.

— Генеральная репетиция, Пашенька. У меня должен быть внушительный вид.

Утром она облачилась в темный джерсовый костюм, перехваченный широким поясом, воротник белой батистовой блузки у шеи — чопорно строга, кажется выше ростом, только щеки рдеют молодым легкомысленным румянцем да глаза сияют тревожно и вызывающе нескромно. Как жаль, что не я, а кто-то другой увидит ее там — пылающее лицо, обжигающий взгляд, — услышит ее взволнованно рвущийся голос. Зависть до ревности! Это не защита диссертации, всего-навсего лишь показательный урок, присутствие родственников на нем исключается.

Я проводил ее до автобусной остановки.

— Ни пуха ни пера.

— К черту! К черту!

А сам кинулся к ближайшему автомату, чтоб позвонить Боре Цветику: нужны цветы, по возможности самые яркие, самые пышные, у нас сегодня торжество! Боря каждую неделю где-то их достает для Леночки. Даже среди зимы...

## 5

В этот день я лишь на пару часов заскочил в лабораторию — боялся пропустить возвращение Майи.

Низкий журнальный столик перед зеленой тахтой я накрыл белой скатертью, на него поставил букет кипенно-

тучных хризантем — спасибо Боре, расстарался. Крупные цветы чуть слышно пахли травянистым увяданием — грустный запах самой осени. Рядом с ними черная литая, как снаряд, бутылка шампанского. И блеск стекла, нетерпеливый, праздничный. И взведенная тишина в доме. И счастливое брожение в моей груди...

Не открывается ли именно сейчас, собственно, сама наша семейная жизнь — надежные будни до скончания и моего, и ее века? До сих пор Майя шагала вперед вслепую, неуверенно, мог ли и я не чувствовать под своими ногами некую зыбкость. Теперь перед ней распахнется какая-то даль, откроется, что хочет, увидит, чего сможет достичь, поверит — я надежный попутчик. И пойдем мы бок о бок, я к своему, она к своему, к разному, но в одном направлении. Совместимость путей человеческих — не досужий вымысел, а обыденнейшая реальность, неисчислимые тысячи людей попарно так вот и шествуют через жизнь. Тот же Пушкин, кумир Майи, как-то обмолвился в одном письме: «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах».

Я ждал, время шло, Майя задерживалась. Уже начали гущаться сумерки, уже пришлось зажечь свет. Букет хризантем при электрическом свете выглядел еще эффектнее, чем днем. И скатерть сияла ярче, и стекло блестело веселее...

...Щелкнул в дверях замок, меня подбросило, я ринулся навстречу! Она переступила через порог, и я невольно попятился: серое лицо, провалившиеся глаза, страдальчески сплюснутые губы, и нет прежней подтянутости, плечи обвалены, руки висят...

— Майя... что?..

Она с усилием крутанула головой, молча стянула плащ, волоча ноги, прошла в комнату и толчком остановилась... Перед праздничным столом!

Сияла непорочно чистая скатерть, ласкали глаз насыщенно окрашенные, пышные хризантемы, и мрачно-торжественная бутылка шампанского целилась в потолок серебряной головой.

Майя боязливо обогнула стол и плашмя свалилась на тахту. Узкая спина затряслась от беззвучных рыданий.

Она мистически понимает великого поэта... Причину исторических изменений ее Пушкин видит в деятельности отдельных личностей. Она поставила творчество поэта в



зависимость от сердечных увлечений. Ни слова не сказала о роли народа и народности... Она легкомысленно игнорировала программу обучения и явно не ознакомилась ни с одним методическим пособием... И вообще все не то и все не так, как нужно!

И последнее было, пожалуй, верно: Майя действительно стремилась — а я, как мог, тут ее поддерживал — сказать не то, что все уже говорили, взглянуть на Пушкина не так, как его другие видели. А присутствовавшие на показательном уроке педагоги, достаточно старые и достаточно опытные, в течение всей своей длительной жизни добросовестно усваивавшие, что именно нужно и как нужно — крепко усвоившие! — сильно, видать, возмутились таким безрассудным своеволием. И еще удивились, ведь в пединституте-то учат тому, что нужно, каким же образом эта девица оказалась столь неосведомленной?

Старый лозунг и священный:  
Знание — свет, незнание — тьма!..

С трудом, слово за слово я вытащил из Майи подробности.

Она сидела передо мной — оброненные на колени руки, спина бескостно согнутая, лицо потускневшее, с тем перекосом, какой я всегда видел у нее в минуты душевного разлада, и веки опущены, глядит нелюдимо в пол.

— Что случилось со мной?.. — произнесла она глухо и недоуменно. — Недавно твои приняли меня за круглую дурочку, теперь эти... Ох, как они друг перед другом старались, кто сильнее приложит, кто больней режет... Что же случилось? Может, я и в самом деле стала хуже?..

И у меня тоскливо засосало под ложечкой: она рассчитывала на меня, рассчитывала — помогу, открою, выведу! И вот мир повернулся изнанкой — я рядом, и я бессилён... Вряд ли она собиралась упрекать меня. Но взгляд в пол и голос глухой, отстраненный...

А на столе, покрытом неестественно чистой скатертью, пышные, вкрадчиво богатой гаммы хризантемы, устремленная вверх бутылка шампанского... Несостоявшийся праздник — злая издевка!

Хризантемы скоро увяли, а бутылку шампанского спустя несколько дней распил со мной Боря Цветик, неунывающий друг дома.

Я всегда любил, проснувшись, видеть поутру заплаканное дождем окно, обещающее скучный, серенький день. В эти минуты я испытывал самодовольное счастье. На всех людей затяжной дождь наводит тоску — их сегодня в точности походит на их вчера, и даже столь малое, как хорошая погода, уже разнообразие. У всех так, а вот я, извините, иной. Еще вечером, ложась спать, я с надеждой ждал новый день, именно такой вот, внешне ничем не отличающийся от прошедшего, никак не праздничный. В праздники мне пусто и неуютно, не знаю, куда себя деть. В будни меня ждет работа, всегда новая, не похожая на ту, что была вчера, всегда что-то обещающая. И серенькое утро с мокрым оконным стеклом — гарантия: будни исполнят свои обещания.

Так было всегда, но теперь заплаканное окно вызывало у меня невольное чувство вины. Причина — Майя! Могли ли я самодовольно радоваться серенькому дню, когда знаю, с какой неохотой она собирается в институт. «Педобожий дом казенный» стал ей еще невыносимей после провала на показательном уроке. А этот дом на другом конце города, даже добираться до него под дождем наказание. И невольно думаешь, завтра ей ничего не принесет — тот же дождь, тот же день. И что дальше?.. Серо и тускло без просвета.

Майя по утрам особенно пасмурна и неразговорчива.

По вечерам тоже. Вечерами нам просто не о чем обмолвиться словом. О моей работе — нет, не смей! О ее учебе — нет, не упоминай! Особенно о недавней горячке с Пушкиным — тут уж воистину в доме повешенного не говорят о веревке.

Сейчас у нас в комнате все прибрано и расставлено по своим местам — добропорядочный скучный порядок и чистота. Книги собраны и разнесены по библиотекам. И чего-то надрывно ждешь, ждешь: господи, хоть бы пожар или землетрясение, лишь бы не тишина. Но дождь за окном, только дождь. Даже Боря Цветик не заглядывает в гости, отсиживается дома.

В один из таких вечеров Майя, лагая бесцельно по полкам, вытащила Иеронима Босха. Он так долго стоял забытым, что даже корешок лакированного супера успел пожелтеть.

— Откуда это у нас? — удивилась она.

— Подарили мне. Давно.

— Кто?

— Одна женщина...

Я никогда ни в чем не лгал Майе, ничего перед ней не умалчивал.

Сведя над переносицей суровые брови, она внимательно принялась изучать цветные босховские кошмары: всадников на опрокинутых кувшинах, рыб, летающих под облаками, тошнотных зеленых химер, химерические физиономии людей...

— Кем была та женщина?

— Научным бродягой и добрым человеком.

— Почему она сделала тебе именно такой подарок? Тебе что, очень нравится Босх?

— Скорей неприятен.

— А мне он нравится! — объявила Майя с мрачным торжеством. — Гляжу — и жутко. Это не смазливая «Незнакомка»...

Она, оказывается, не забыла «Незнакомку», даже в голосе сейчас мстительные нотки. «Незнакомка» теперь суеверно пугала меня — с нее началась неудовлетворенность Москвой, закончившаяся скандалом пред глумящимися масками. Нынче у нас все так натянуто и так ненадежно — не хватает лишь скандала. Я ничего не ответил и лишь украдкой перевел глаза на стену, где висела бесхитростная смеющаяся «Рябинка».

— А той женщине это нравилось?

— Не знаю, мы никогда не говорили о живописи.

— Нравилось, если держала у себя. Мы, наверно, похожи...

— Вы совсем разные. Она была очень одиноким человеком. У тебя родители, у тебя муж, полно знакомых, ты крепко связана с миром. У нее никого.

— Я связана?.. Нет! Кажется только. Оглядываюсь, — и страх берет — пусто...

Я рассердился.

— Меня принимаешь за пустоту — пусть! Но отца с матерью пустотой считаешь?!

Насупив брови, Майя долго молчала, наконец вздохнула и сказала:

— Ты прав... Просто я теперь какая-то исковерканная. У меня невезучая полоса... Никто в этом не виноват. И тебя я люблю. Да!.. И хочется тебе сделать что-то хорошее.

Но Босха она не отложила, листала и вглядывалась в него допоздна.

На следующий день, вернувшись с работы, я застал Майю дома, она встретила меня загадочным взглядом.

— Взгляни. Нравится?

Со стены над тахтой исчезла хохочущая «Рябинка», вместо нее раскинулось полотнище, траурное и тесно набитое несуразно угловатым — нечто бычье, нечто крокодиле-лошадиное, нечто человечесьё, спутано, перемешано, вопит, корчится, задирает уродливые конечности.

— Это Пикассо. «Герника»! — объявила она.

— А тебе... нравится? — спросил я.

— Да! Жуть берет.

— Не пойму, почему жуть должна доставлять наслаждение?

— Десятки лет весь мир восхищается этой картиной!

Не впервые Майя упрекает меня, что мои вкусы и взгляды расходятся со всем миром. Не скажу, что мне доставляет удовольствие моя обособица, рад был бы походить на всех, но и притворяться перед собой не могу.

И меня удивляет Майя. Ей нравится, сомнений нет, фейерверочное, светлое, пушкинское:

Балконы, львы на воротах

И стаи галок на крестах.

и вышито от отца

Нравится и это — «жуть берет». Как может в одной человеческой душе укладываться столь несовместимое?

Наверное, то и другое лежит у нее в разных этажах — в верхних, светлых, и в подвальных, темных...

А в общем, жаль исчезнувшей «Рябинки». Жаль, как утраченного детства.

И снова тягостное молчание по вечерам. Только теперь над нами издевательски ржала со стены лошадино-крокодилей пастью «Герника».

## 7

В современных романах и пьесах часто показывается эдакий ученый муж, самозабвенно увлеченный наукой, из-за своей благородной занятости не уделяющий жене достаточного внимания, а отсюда мелодраматический конфликт. И кажется, стоит только слегка пожертвовать увлечением — мужу уделять больше внимания жене, жене быть чуточку снисходительнее к мужу, — как драма исчезнет, мир и благополучие восторжествуют в семье!

Я, право же, старался быть внимательным, больше того,

готов был стать бесконечно нежным — «Не мужчина, а облако в штанах!» — если б она в этой нежности нуждалась. Все свободное время я проводил с Майей — вечера наши! Ей меня хватало с избытком, не хватало другого... Чего? Ни я, ни она ответить не могли.

Я из кожи вон лез, чтоб не слишком обременительные семейные заботы не ложились на ее слабые плечи: по пути с работы заскакивал в магазины, толкался в очередях, нес в авоське домой бутылки с кефиром, до ее прихода старался прибрать квартиру, и часто она заставляла меня с засученными рукавами, до блеска надраивающего ванну.

Но вместо похвалы и умиления слышал досадное:

— Ну что ты в бабьи дела лезешь!

Сведенные брови, презрительно вздрагивающие уголки губ.

Нет, я не обладал бронированной кожей, уязвим, как и все, а перед Майей и подавно — словно освежеван. Недовольное движение ее бровей, не пускающий в себя взгляд вызывали во мне острую боль, заставляли корчиться, долго саднили. Иногда она спохватывалась — обидела ни за что, — старалась сгладить вину, хвалила:

— А ванна-то блестит, я бы так никогда ее не оттерла.

Жалкая подачка, скупой кусок нищему! Но ведь и мое — подмести комнату, отдраить ванну, вымыть грязную посуду — тоже подачка вместо чего-то, что она истомленно ждала. Слишком скудное! Она вправе оскорбляться.

Мелочи, житейские мелочи — как комариная толкучка, обещающая надвигающуюся грозу.

Она нашла спасение от гнетущего молчания — принесла от родителей магнитофон с записями, по вечерам включала его.

В тот вечер магнитофон пел:

Мело, мело по всей земле  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела...

Женский голос, свободный и бесстыдно счастливый — откровенная исповедь в том, что принято скрывать среди людей.

На озаренный потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья...

У меня все сжалось внутри, хоть кричи. Столь же невероятно счастливое было и у нас. Да, было! Мы нашли друг друга — это само по себе невероятное чудо. Среди мелькающих мимо по жизни тысяч и тысяч людей, в пестром человечьем водовороте я разглядел тебя, ты меня. И сошлись — никаких препятствий, никто не вставал между нами на пути, ни зависть, ни злоба не были нам помехой! Сказочный Черномор не уносил тебя за тридевять земель, ни денежно-корыстные расчеты, ни суетные сословные предрассудки, не было ничего такого, от чего страдали влюбленные в романах прошлого века... Свободно и просто: нашли друг друга и соединились, живи во всю силу, ощущай счастье — «судьбы скрещенья»... Но почему ты сейчас сидишь спиной ко мне? Почему натянутое молчание? Мы рядом и мы врозь! Почему?...

И падали два башмачка  
Со стуком на пол.  
И воск слезами с ночника  
На платье капал...

Такое прекрасное и такое доступное, оно утрачено нами! Почему?..

И все терялось в снежной мгле  
Седой и белой.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

Я встал и подошел к ней.

— Майя...

Она вздрогнула и выключила магнитофон, песня оборвалась. Темный глаз смятенно скользнул по мне и спрятался.

— Что сделать? Подскажи! Как вернуть тебя? На все готов!..

Ее губы горько скривились

— Стань больным.

— Больным?!

— Да, лежачим, беспомощным, неспособным подняться по крайней нужде.

— Зачем, Майка?

— Тогда я была бы тебе нужна. А сейчас... сейчас ты так легко обходишься без меня. Я ни к чему... Я просто существую рядом, коичу небо...

Я опустил ся возле нее, взял ее за руку, стараясь заглянуть в опущенное лицо, в спрятанные глаза.

— Хочу, Майка... Хочу пробиться к тебе... Разгляди поближе, поверь хотя бы в одно — нужна, нужна! Свет клином на тебе сошелся, весь свет! Без тебя ничего не станет радовать, ничего не нужно, все бессмыслица — живой труп без тебя!.. Люблю и не представляю жизни... без тебя!..

Она не отняла руки, не отстранилась, и под упавшими ресницами влажный блеск, и в губах изнеможенно страдальческое, просящее защиты.

— А ты можешь мне сказать, за что... за что ты меня любишь? Мне это очень нужно знать. Без этого ответа мне трудно верить...

— Я люблю тебя не за что-то, Майка... Ты есть, и мне вполне этого достаточно, чтоб любить!..

— Но я же не вещь, Павел. Я живая, как и ты, мне, как и тебе, нужно что-то делать, действовать. И... в неподвижности, в окаменелости! Не двигаюсь, не живу!..

Да, стон, да, отчаяние, но не ожесточенность, голос слаб и умоляющ, в нем потаенная надежда.

— Чем же ты сможешь помочь мне, Павел?.. Чем?!

В тесной комнате с задернутыми шторами вдруг словно потянуло возвышающей свежестью той фантастической ночи с опрокинутыми в воду деревьями, ронцающими лягушками, приклеенной улыбкой мироздания в небесах — возвращенное прошлое!

Я чувствовал в себе прежние силы, и прежнее неистовство прорвалось наружу:

— Майка! Время и терпение — и мы откроем друг другу свое! Мы оба не бедны, не убоги, у каждого есть, есть — и немало! — что-то для другого! Придет день, и мы станем ужасаться — как это раньше не видели залежи! Да, да, Майка, доброты, чуткости, жертвенности, черт возьми!.. Во мне все это хранится для тебя, в тебе — верю, верю! — для меня!..

Я говорил, она слушала и тихо прислонялась ко мне.

Я обнял ее, гладил по спутанным волосам, жалость и нежность захлестывали меня. Утерянную, я обретал ее вновь и опять испытывал перед ней мальчишескую скованность, словно впервые обнимал ее: доверчивая податливость, связанность, затаенная робость — таинство, перехватывающее дыхание. И бессильная рука, сочленение хрупких косточек, брошена на литое колено. И на белой натянутой шее завитки мягких волос...

Она шевельнулась под моими руками, подняла голову, вскинула заполненные мраком глаза, засасывающие до го-

ловокружения. И вздрагивающие, нетерпеливо ждущие губы рядом...

Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья...

8

Утро было обычное, серое, дождливое, за заплаканными окнами придавленные мутной толщей тяжелого воздуха, мокро лоснящиеся, нагроможденные друг на друга крыши. В ущельях, стесненных домами, траурные каналы асфальта.

Из окна я заметил, внизу собралась толпа, стояли две канареечно-желтые машины милиции, светлый микроавтобус «скорой помощи». В доме напротив, похожем на наш дом, как зеркальное отражение, этой ночью что-то стряслось. Но город отучает людей от любопытства: мало ли чего в нем происходит, порой даже беда, случившаяся за стеной, канет незамеченной — незнаком с соседями, равнодушен к ним. И я, кинув взгляд в окно, тут же забыл.

Как всегда, спеша — не опаздывали, по въевшейся привычке, — мы с Майей сбежали вниз, чтоб расстаться у автобусной остановки: ей ехать, мне идти пешком. Но толпа напротив нашего подъезда грозно разрослась. И машина «скорой помощи», и машина милиции, и угрюмые милиционеры у распахнутых дверей, сердито оттирающие излишние любопытных.

На улице чужое несчастье стало ближе, чем оно выглядело из окна. Мы перебежали мостовую и оказались в толпе.

— Что тут? — бросил я вопрос в накаленный воздух.

Парень с рыжими бачками из-под надвинутой на лоб кепки, не глядя на меня, коротко ответил, словно уронил гирию:

— Убийство.

Старичок в изъеденной молью древней пыжиковой шапке, с потертым, вымученно-блеклым лицом хорька, возбужденно приплясывавший, с ужимками оглядывавшийся во все стороны, почти ликующе пояснил:

— Сынишка-сопляк из ружья отца родного! Хвать со стены — и будь здоров, папаша. Никаких!..

Кругом сердито зароптали, заволновались:



- Молодежь нынче пошла.
- Пил отец-то, скандалил. Тут его все знали.
- Яблочко от яблоньки...
- А сколько лет мальцу?
- Да школьник еще. Говорят, за мать заступался.
- Все одно колония.
- Идут, идут!

Милиционеры ринулись на толпу, стали раздвигать.

— В сторону! В сторону!.. Граждане, не толпитесь!.. Ты, старый, тут не вертись, шел бы домой!..

Из темного подъезда показались несколько человек в штатском, быстрым, деловитым шагом прошли сквозь раздвинувшуюся, почтительно притихшую толпу к одной из милицейских машин, но сесть в нее не спешили, не глядя друг на друга, стали закуривать.

Толпа дрогнула и подалась вперед.

— О-он!.. Он!..

Рослый милиционер громадной красной рукой с предупредительной бережностью придерживал за локоть до неустойчивости тонкого парнишку — коротенькое незастегнутое пальто, расклепанные брючки, тупоносые тяжелые ботинки, гривка мочально рыжеватых волос с затылка, лицо узкое, до зелени бледное, стертое — никакого выражения! — лишь глаза, янтарно застывшие и прозрачные насквозь, пусты. Лет пятнадцать, не больше.

Я вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Один из штатских, что вышли из подъезда раньше преступника, стоял у машины, из-под надвинутой шляпы смотрел на меня, на прижавшуюся ко мне Майю. Тонкогубый широкий рот, резкие жесткие складки от носа и таящиеся в тени глаза, выбравшие из толпы меня. Наши взгляды встретились, и он неожиданно смутился, поспешно отвернулся, бросил недокуренную сигарету.

Почему-то этот взгляд вывел меня из равновесия, он, похоже, не был враждебным, угрюмым тоже не назовешь, но какой-то не случайный, что-то хранивший в себе, словно глядевший хотел запомнить и меня, и Майю. Я часто потом в тяжелые минуты вспоминал эти беспричинно направленные на меня, прячущиеся в затененных глазницах глаза.

И в тот момент что-то хрустнуло внутри меня. Должно быть, сломалась выношенная, надежная вера в существование жесткой границы между добром и злом. Мальчик с прозрачными глазами убил отца! Сын — отца! Того, кому обязан самой жизнью на белом свете. За возможность

жить не благодарность, а ненависть до предела — умри! Это уже не просто вырождение человечности — вырождение природы, сотворившей живое. Если бы плод сокрушал дерево, не успев еще созреть, то земля превратилась бы в царство минералов. Зеленый мальчик с прозрачными глазами... Должно что-то случиться с теми, кто это сейчас наблюдает, что-то, чему нет даже названия — не просто ужас, не только отчаяние, не некий осуждающий гнев, а всеохватно трагическое, апокалипсическое великое...

Но вокруг все толкались, сопели, стискивали друг друга, и я не чувствовал в людях ни ужаса, ни отчаяния, ни даже в полную меру удивления — лишь жадное оскорбительное любопытство. Право же, все станут жить, как жили, и скоро забудут это событие. Рубеж зла и добра — есть ли он? Ощущает ли его кто-нибудь? Бесчувственное неведение — не призрак ли грядущего конца, никем пока не замеченный, никого не пугающий?

Мы выбрались из толпы. И пока мы шли к автобусной остановке, Майя прижималась ко мне, искала защиты...

А я уносил неверие во все и вся. Люди связаны друг с другом, живое лепится к живому — да нет, мнимость! Близость случайна и ненадежна. И как трудно ее доказать! Вражда убедительна — вплоть до убить, до доказательства, которое уже нельзя опровергнуть!

До сих пор пружиной, толкавшей мою жизнь, было: люди ждут от тебя, не смей беречь себя, ради них отдай всего без остатка! Ждут?.. Нужен?.. Кому, собственно?.. Умри сейчас, ничто не изменится, никто не придет в отчаяние. Сверши великое — опять же мир не перевернется и краше не станет, убийства, злоба, зависть по-прежнему останутся. Оттопчи свое на земле и ухни в небытие — вот единственный нехитрый смысл твоего появления на свет.

И Майя... Нет, и она ничем меня не спасет. Случайно нас снесло вместе. Мол, рождены ты для нее, она для тебя! Не обольщайся — прекраснодушная иллюзия!

Я впадал в ересь: даже о Майе думал едва ли не с равнодушием, граничащим с предательством.

Я вошел в институт, и на меня налетел Никита Великанов, галопировавший по коридору.

— Слушай, наш шеф учудил!..

Горящая от возбуждения физиономия, стреляющий взгляд, волосы всклокочены. А я нес в себе мальчика-убийцу с прозрачными невинными глазами, ни о чем не мог думать, ничего не хотел знать, а потому перебил:

— На нашей улице ночью убийство... В доме напротив... сын — отца...

Никита спешил:

— Что?.. Кто?.. Черт! Ничего не пойму!..

— Я тебе говорю: сын — отца!..

— Все сегодня с ума посходили... Да ты слышал, что я тебе сказал?

— А-а!.. — отмахнулся я. — Я только что видел убийцу!

— Твои знакомые, что ли?

— Нет.

— Ах, да, конечно, конечно! По нервишкам ударило... Но, извини, у нас здесь чепе! Ты же вчера не был на ученом совете, а там... Ну-у, обвал! Наш Борис Евгеньевич обрушился на Пискарева и Зеневича...

— Пискарев — Зеневич?.. Какое мне до них дело... В первый раз они, что ли, грызутся...

— Очнись! По всему институту карусель — Лобанов на дыбы поднялся! Кто бы мог ждать от старика...

Совсем очнуться я не мог — мальчик с прозрачными глазами не выходил у меня из головы, — но тем не менее институтская карусель подхватила меня и понесла.

Борис Евгеньевич, с которым в последнее время я как-то не сталкивался вплотную, совершил то, чего от него никто не ждал: объявил войну, произнес на ученом совете обвинение...

За последние десять лет через руки Пискарева и Зеневича прошло столько-то аспирантов, столько-то защитили кандидатские диссертации. Собранные в один букет, темы этих кандидатских поражали унылой одноцветностью — избитые проблемы, «пережевывание чужой жвачки». Подготовка каждого аспиранта обходится государству во столько-то рублей, на так называемые лабораторные исследования подопечными Пискарева и Зеневича истрачено столько-то. И столько-то раз в стенах института подымались скандальные войны — пискаревцы на зеневичевцев, зеневичевцы на пискаревцев. Поводы невинны и мелочны, методы борьбы — групповые интриги, подсиживание, передергивание и подтасовка фактов. Но это еще не все, Борис Евгеньевич обратил внимание на спецзаказы. Солидные организации заключали договора на научные исследования и выплачивали крупные суммы, львиная

доля из которых шла на повышение зарплаты исполнителям. Пискарев и Зеневич энергично проталкивали в наш институт детей именно тех влиятельных отцов, которые и могли обеспечить их заказами. Борис Евгеньевич потребовал создания компетентной государственной комиссии, способной беспристрастно разобраться, что это за заказы и на каком уровне они выполнялись. Общий вывод: Пискарев и Зеневич превратили институт в школу интриганства и карьеризма на научной почве, формировали не просто слабых научных работников, но и безнравственных людей, представляющих определенную опасность для общества.

Все это я узнал через двадцать минут после того, как переступил порог института.

А еще через двадцать минут меня потребовали к телефону — сам ректор вдруг вспомнил обо мне:

— Павел Алексеевич, не смогли бы вы сейчас подойти... Да, да, желательно сейчас!

Нашим ректором был некто Иван Павлович Илюченко. Он за свою жизнь успел побывать и директором совхоза, и секретарем райкома партии, руководил сельским хозяйством области, да не согласился при Хрущеве с ликвидацией травосеянья, круто полетел вниз. Уже будучи не первой молодости, он поступил в заочную аспирантуру одного сельхозинститута, защитил кандидатскую, написал докторскую, тогда вновь вспомнили о его руководящем прошлом, предложили возглавить наш институт.

Себя он ученым не считал, но науке служил ревностно. При нем институт построил второе здание, расширил свои лаборатории, по-современному оборудовал их. При нем, Иване Павловиче Илюченко, у нас появились средства «удовлетворять собственное любопытство за счет государства», то есть открылась возможность свободного поиска, без которого немыслима наука.

Мне не так уж часто приходилось сталкиваться с ним. Он ни разу не спустился в нашу лабораторию, не ревизовал нас, но в тех редких случаях, когда мне приходилось напоминать ему о себе, я не слышал от него: «Нет, не могу».

Это был стандартный на вид человек — среднего роста, средней полноты, круглая голова на просторных плечах, лицо с неистребимым крестьянским загаром, зачес с проседью, тщательно укрывающий скромную плешь.

И кабинет его был тоже казенно стандартен — обезличенный полированный стол с аккуратными стопками бу-

маг, с двумя телефонами, традиционный стол для заседаний под зеленым сукном, портреты на стенах, даже фикус у окна. Но, странно, он, стандартный Илюченко, не подходил к своему стандартному кабинету, каждый раз, как я видел его за письменным столом, у меня появлялось ощущение — случайно уселся, надо подождать, пока не придет настоящий хозяин.

Он проникновенно вглядывался в меня своими маленькими, глубоко посаженными глазами, наконец, задал вопрос:

— Как вы думаете, Павел Алексеевич, мне нравятся Пискарев и Зеневич?

— Смею думать, что нет.

— Они ко мне мчатся, чтоб облить грязью друг друга, а не к профессору Лобанову. Я, а не Лобанов, постоянно вынужден окунаться в их грязь. Никто так хорошо не знает их, как я, и никому так не тяжело от них, как мне.

Я выжидающе отмолчался, гадая, к чему эта исповедь. А Илюченко настойчиво ощупывал мое лицо.

— Вы согласитесь выступить с обличающими фактами, Павел Алексеевич? — спросил он. — У вас есть против них что-то такое... убедительное?

— Они меня не очень-то трогали, — ответил я.

Он с силой опустил широкую, мужичью, жесткую ладонь на полированный стол.

— Так!.. А у кого бы мне получить факты, дискредитирующие этих молодцов? Не подскажите?

Я пожал плечами.

— Больше всего они сами могли бы сказать друг о друге.

— Ну нет, теперь они дружно заявят, что их разногласия имели чисто научный характер, что каждый из них честно отстаивает свои принципы и позиции, но, увы, с некоторой, вполне понятной горячностью. И они картинно при всех еще принесут извинения друг другу...

— Создайте комиссию из ученых, они разберутся и выведут их на чистую воду.

Ректор невесело усмехнулся.

— Полезный совет, но... опасный.

— В каком смысле?

— На чистую воду никто и ничто не выплывет, а все мы увязнем в трясине. И произойдет это примерно таким манером... Вот профессор Лобанов упрекнул этих турнирных рыцарей, по меньшей мере, в десятилетней научной бесплодности. А вы думаете, что Пискарев с Зеневичем

покорно согласятся с этим? Нет, они резонно спросят: что за это время открыл сам профессор Лобанов? Да, у Бориса Евгеньевича большие заслуги, но все они относятся к довольно-таки отдаленному прошлому. За последние десять лет и профессор Лобанов принципиально новым, увы, не обрадовал. И выйдет: врачу, излечися сам!

— А ученики и их достижения разве тут не принимаются в расчет?

— Не забывайте, что учеников у профессоров Пискарева и Зеневича ничуть не меньше.

— Тогда стоит поднять опубликованные работы и сравнить по ним... качество учеников.

— Что ж, подыдем работу, скажем, некоего Кренихина Олега (был в свое время такой аспирант у Пискарева). Предположим, нам даже удастся доказать ее несостоятельность. Но Кренихин Олег Николаевич — ныне директор довольно крупного института. Кто решится доказать, что он не по заслугам преуспел?

И я озадаченно замолчал: действительно опасно, Борису Евгеньевичу легко оказаться в дураках, да и проверяющей комиссии тоже.

А ректор ровным голосом продолжал:

— А тут еще профессор Лобанов неосторожно тронул, мол, спецзаказы — чуть ли не взятки за опеку над недорослями. Эт-то скандал! Тут уже ставится под сомнение честность видных хозяйственных руководителей. Кто, кроме этих руководителей и их ближайших сотрудников, может знать, насколько необходим производству данный спецзаказ? Доказать со стороны, что спецзаказ дутый, практически, поверьте, невозможно. Зато обратное доказать легко, а уже после этого сам собой напрашивается и вывод: профессор Лобанов — злостный клеветник, а Пискарев и Зеневич — невинные жертвы.

— Выкладываете начистоту, Иван Павлович, чем я могу вам быть полезен? — спросил я. — Не думаю, чтоб вы вызвали меня просто так, для беседы.

Он встал, широкий, с выступающим животиком, с плоским сумрачным лицом.

— Одно обстоятельство вынуждает меня обратиться к вам, Павел Алексеевич. В нашем городе весьма скоро пройдет межгородская вузовская конференция по вопросу связи научного преподавания с практикой...

— Конференция?.. Но при чем тут я?

— Вы нет, а Лобанов — да. Я могу утрясти любой конфликт внутри института, даже, самый скандальный. Но

если скандальное прорвется на конференции, то я уже бессилён что-либо сделать — институт будет обесславлен, а профессор Лобанов окажется в клеветниках. И единственно, кто останется в выигрыше, — Пискарев с Зеневичем...

— Вы хотите, чтоб я остановил Лобанова?..

Ректор заглянул мне в зрачки, заговорил резко:

— Вы в институте самый близкий ему человек. Он считает вас своим лучшим учеником. И вам он, думается, тоже дорог. Поэтому сделайте то, что бессилён сделать я, — откройте глаза! Постарайтесь ради него самого убедить Бориса Евгеньевича ничего не предпринимать больше!

— А если у меня не получится? — спросил я.

— Тогда будет плохо Лобанову... Мне... И вам, Павел Алексеевич, тоже! Именно на учениках-то Лобанова и станут отыгрываться Пискарев с Зеневичем. Они же люди беспощадные, вы это хорошо знаете.

Я знал. Но как, однако, все до смешного ненадежно. Уж если такой трезвый человек, как несентиментальный Илюченко, хватается за непрочную соломинку — действуй на чувства своего учителя, любимый ученик, иного выхода не вижу! — то, значит, серьезная заваривается каша.

Нет, ректор не выжимал из меня согласия, а я, уходя, не сказал ему ни да, ни нет. Я еще не решил, стоит ли мне принимать на себя столь странную и неблагодарную обязанность: учить разумности своего учителя.

В этот день я так и не встретился с Борисом Евгеньевичем. И весь день до вечера незримо за моей спиной стоял мальчик-убийца со светлыми невинными глазами.

Вечером же к нам пришел Боря Цветик.

Мы уселись по обыкновению на кухне. На окно навалилась темнота, не видно ни городских крыш, ни дома-близнеца напротив, и тиха внизу наша улица, только с проспекта доносится шум машин. Майя гремела чашками, собиралась поить нас чаем. У нее, как всегда, губы в изломе, лицо страстотерпицы, но особой подавленности в ней не чувствуется, внимательно слушает Борю, порой даже замирает, перестает греметь чашками.

Все кругом так ненадежно — выбиты подпорки, вот-вот обрушится, загремит, останусь среди обломков. Я тихо

страдал и... наслаждался. Да, наслаждался — тайком, почти воровски — семейным вечером. Я следил со стороны за Майей, жадно ловил и запоминал каждое ее движение, ее вздернутые узкие плечи, ее тонкую талию, охваченную фартучком с вышитыми тремя пляшущими поросятами, ее будничную озабоченность под маской страстотерпицы на лице. И кипящий на плите чайник, и расставленные по местам чашки с блюдечками, и гость за столом, и беседа... Это малое житейское никем обычно не замечается, никем не ценится — привычное! Радуюсь, что оно у меня еще есть, мне больно и хорошо...

Благодушный гость и беседа... Однако беседа-то далеко не благодушная — говорим о чужой беде.

Всеведущий и вездесущий Боря Цветик, оказывается, знал убитого отца — некий Рафаил Корякин, мастер с автостанции при мотеле, широко известный любителям-автомобилистам всего города. Он недавно выправил Борису помятый «пожарный» «Москвич».

— Что за человек?.. Да обычный скот во всем, кроме рук. Руки у этой скотины были золотые, ничего не скажешь. Помятую в гармошку машину — смотреть страшно! — выправит, от новенькой не отличишь никак. После любой аварии все к нему. Кто половчей, того без очереди, а так всегда у Рафки длинный хвост. Сотни машин сквозь его руки проходили, с каждой получал в лапу, деньги мусором считал. И потому пил с размахом, осатанело. Обязательно компанию должен иметь, чтоб было во время пьянки кого загрызть. Без этого не мог. Как чуть пропустит с прицепом, так звереет. Представляю, каково жене такого оскотиневшего встречать каждый вечер. Сын, говорят, не в папу, скромный парень, ни в чем дурном не был замечен. И будто бы он несколько месяцев назад предупреждал отца: не тронь мать — убью! И любопытная, знаете ли, деталь: отец не спрятал ружье, хотя жена и упрашивала — унеси от греха. Судьбу, выходит, испытывал.

Боря Цветик рассказывал с умудренным пренебрежением. Белоснежная сорочка, неброского цвета галстук, тугие, гладко выбритые щеки — чистый человек, вынужденный ковыряться в житейских отбросах.

Я решил спросить:

— Интересно, водка его скотом сделала или, наоборот, скотская натура на водку бросила?

— А не все ли равно, — отмахнулся Борис.

— Важно знать, скотство такого Рафки врожденное или приобретенное?



— С четвертинкой во рту не рождаются, всех как-то жизнь приучает.

— Прежде считали — нужда беспросветная к водке гонит, но Рафка, похоже, не нуждался...

— Рафка зашибал больше, чем мы с тобой вместе взятые зарабатываем. Ружьецо-то, из которого убили, зауэровское, три кольца. За такое тысячу отдай.

— Жена-стерва его довела?

— Забитая баба, она слово поперек сказать боялась.

— Не скорбь же мировая — причина?

— Ха! Скорбь мировая у Рафки!

— Значит, с четвертинкой родился — наследственность! — решил я.

Боря Цветик помолчал, вызванивая ложечкой в чашке, наконец изрек:

— Просто скука. Она страшней всякой нужды и скорби.

— Как скука?.. — не понял я.

— Да так, некуда себя деть — это, брат, проклятие, от него не только к бутылке, в петлю полезешь.

Мне постоянно в жизни не хватало времени, дни безделья обычно вызывали угрызения совести — что-то всегда не окончено, ждет меня, висит грузом на шее. Даже на счастливом Валдае нет-нет да врывалось беспокойство — стороной течет время!

— Не представляется, — сказал я.

— Ой ли? — со снисходительным великодушием возразил Боря. — Рафка Корякин из той породы людей, над которыми, так сказать, довлеют два высоких чувства: утром им неохота идти на работу, а вечером домой. Неохота — его основное, если не единственное чувство в жизни. А еще, как назло, ему предоставили в неделю два выходных. Впрочем, вру, Рафка, кажется, работал пересменно — день вкалывал по двенадцать часов, день отгула... Через день полная пустота, куда себя деть? От этого, брат, вопросика застонешь. Книги Рафка не читал — не тянуло, телевизор обрыдл, «козла» забивать с пенсионерами не по характеру — натура, видишь ли, беспокойная. И выходит, что иного спасения нет, кроме водки. Шарахнешь стопку, другую, и вместо пустоты веселье, вместо ненужности приятельские объяснения: «Ты меня любишь, ты меня уважаешь?..» И страсти, брат, страсти! Конечно, многие берегутся этой заразы, но почти каждый на свой манер со скукой воюет.

— Уж так-таки каждый?..

— Исключения, конечно, случаются.

— А ты тоже воюешь?

Боря Цветик пожал пухлыми плечами.

— И я тоже. Только делаю это половчей Рафки. Не в пример ему умею себя занять: книги читаю, даже философские, историей медицины интересуюсь... Но и на меня находят времена — хоть вой.

У Бори всегда на все есть ответ — счастливый характер. А я вечно изобретаю загадки. Вот и сейчас покойный Рафка для меня загадка, а вместе с ним загадка и я сам. До сих пор я отвечал просто: не скучаю потому только, что некогда, съедает работа. Но работал и Рафка, умело, красиво, наверное, часто получал удовольствие от своей работы — машина гармошкой становится как новенькая! А так ли уж часто получал удовольствие я? Досадных огорчений в деле я имею, право, куда больше, чем радостей. И все-таки мое дело — моя страсть, до появления Майи единственная. Не потому ли, что я самолюбиво хочу доказать людям — могу сотворить им небывалое, могу их осчастливить? Чувство необходимости людям, не это ли занимало все мои силы, все мое время? Скучать? Где уж. Однако и к Рафке стояла длинная очередь, в Рафкиных золотых руках нуждались. Он тоже мог — вполне мог! — испытывать такое же чувство: необходим людям! Только есть между нами и различие. Я получаю обычную зарплату, за мое чувство мне никто ничего не приплачивает. Очередь же тянула Рафке деньги. Деньги и высокое чувство не совместимы. За твою услугу я тебе заплатил, значит, больше ничего не должен, ничем тебе не обязан, не испытываю ни благодарности, ни вообще чего-либо к тебе человеческого. Рафка «получал в лапу», то есть обдирал. А тех, кого обдираешь, уважать нельзя, скорей — презирать. Изодня в день презрение, оно, наверное, стало привычкой. Презрение ко всем — к друзьям, к жене, к тому же сыну... И кто мог, сторонился его, остальные терпели, никто не любил. Как жить, если все кругом противники, никто не близок? Хоть на минуту да обмануть себя: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!..»

— Послушай,— сказал я Боре после молчания.— А ведь не в скуке дело — в одиночестве.

Боря не мог знать, что прокипело во мне за эту затянувшуюся паузу, он небрежно хмыкнул.

— Одиночество?.. Такие, как Рафка, всегда в куче.

— То-то и оно, что и в куче можно быть никому не пужным. Он и в семье был чужим...

— А семья вовсе не роднит. Да! Семейные-то люди чаще всего и творят чудеса. Не замечал?..

И стрельнул в меня нескромным острым взглядом. Не так-то прост этот добродушный Боря Цветик — подозревает чудеса и в нашей маленькой семье. Нескромный взгляд заставил меня с вызовом спросить:

— Не оттого ли ты с Леночкой из Комплексного не сходишься, что чудес боишься?

— Оттого, — ответил он не моргнув глазом.

— И Ленка с этим мирится?

— Ленка — умница, понимает не хуже меня, как это страшно: стать мужем и женой, торчать нос к носу изо дня в день, из года в год. Осточертеет, а спрятаться некуда. Какая уж тут любовь?

— Значит, чтоб любить, надо прятаться друг от друга?

— Держаться на расстоянии, — невозмутимо изрек Боря.

— А вот меня почему-то тянет к тому, кого люблю. Думаю, и других тоже.

— Тянет. Да. Но умей сдержаться. Вот мы с Ленкой держимся в разлуке, ждем не дождемся субботы, целую неделю живем этим ожиданием. И она наконец наступает: я являюсь к ней с цветами, она встречает меня нарядная, стол накрыт белой скатертью — праздник. Я приехал навстречу мечте, она видит вымечтанного. Ну а если бы мы сошлись, никаких светлых праздников, сплошные серые будни.

Майя сидела рядом, не участвовала в нашем разговоре, но слушала, напряженно слушала — разлившиеся зрачки, скорбяще сведенные губы. Боря Цветик, расправив полные плечи, ласково поглядывая то на нее, то на меня выпуклыми глазами, продолжая вещать сокровенное:

— Все согласны, все, что пора влюбленности — самое счастливое время жизни. Поэтами воспето, слезами сожаления омыто — неповторимо! И вот ведь поразительно: когда эта счастливая пора наступает, все торопятся ее сократить. Не успели по-настоящему повлюбляться — к свадебному столу! От поэзии — к прозе жизни, от полноты чувств — к скудости, от богатства переживаний — к однообразию. Ну не глупо ли?..

Я уже страшился глядеть в сторону Майи — именно так мы с ней и поступили: оборвали влюбленность, чтоб теснее сойтись, от поэзии — к прозе... И сейчас мы не можем похвастаться, что счастливы.

— А не кажется ли тебе, что ты превращаешь жизнь в игру? — спросил я.

Боря на минуту задумался, только на минуту, чтоб решительно согласиться:

— Может быть.

— Но так можно проиграть лучшие годы — получить удовольствие и в конце концов остаться ни с чем.

Боря Цветик не успел возразить, как раздалось:

— Т-ты!.. Т-ты ханжа, пуританин! Т-ты!.. Ты всегда все сводишь к голому утилитаризму!..

Майя, до сих пор слушавшая молча, с напряженным вниманием, взорвалась.

Лицо ее было бледным и болезненно перекошенным, дышащие зрачки, голос дрожащий, захлебывающийся:

— Люди всегда, всегда стремились скрасить постылую жизнь игрой. Да! Да! Пели, танцевали, мистерии устраивали... Во время Олимпийских игр древние греки бросали самые неотложные дела, даже войны прекращали!.. Да укради у людей игру — от тоски, как мухи от холода, вымрут! Но всегда найдутся Савонаролы, которые запретят — не играй, не смей наслаждаться красотой! — заставят художников сжигать свои картины...

Боря Цветик, растерянный и, как я, оглушенный, попытался было остановить Майю:

— Да чего ты, право... Так сразу и всерьез!..

Но Майя и не слышала его, направив на меня свое пугающее асимметричное лицо, кричала. И на шее у нее натягивались сухожилия, и на лбу зацвели красные пятна.

— Нет несносней на свете тех, кто всегда поступает с расчетом, живет всерьез!.. Они так высушат вокруг себя, что любой росточек на корню вянет!.. Ты-ы! Ты-ы!.. Кого ты сделал счастливым?! Сам-то, сам-то счастлив?.. Я рядом с тобой счастлива?.. Не-ет! Не-ет!.. Дышать трудно возле тебя, скуш-но-о! Скуш-но-о! Пропадаю!..

Майя сорвалась, кинулась из кухни в комнату. Слышно было, как там с грохотом упал сбитый стул.

Боря Цветик поспешно скрылся от чужой беды. Я толкался в кухне, в коридоре, зачем-то зашел в ванную комнату, зеркало отразило мою подавленную физиономию, широкую, с крутыми тесаными скулами, настолько грубо

плотскую, что только зыбкая тень страдания отражалась на ней. Каменная рожа, из такой слезы не выжмешь, противен сам себе.

Наконец я осторожно прошел в комнату. Майя лежала на тахте лицом к стене.

Семейные сцены — тривиальнейшее явление.

Семейные сцены — многоактные трагедии, которые старательно прячутся от стороннего зрителя.

Никто не воспринимает их всерьез: перемелется — мука будет.

Но навряд ли мировые катаклизмы и социальные несправедливости вызывали столько приступов отчаяния, ненависти, ярости, сколько их прорывается ежедневно и вездесуще в семейных сценах.

Если я молод и здоров, то изнурительный труд, нужда, даже фатальные неудачи, право, так не страшны для меня, как несовместимость с тем, с кем мне суждено жить бок о бок. Несовместимы — значит, на радость ответят мне негодованием, на гордость — презрением, на порыв откровенности — замкнутостью.

Семейные сцены — жуткие схватки во имя самоутверждения, неизбежно приносящие только самораспад! Локальные баталии, заполняющие мир калеками, духовными и физическими, неизлечимыми психопатами и безнравственными эгоистами, патологическими мизантропами и безнадежными инфарктниками.

Семейные сцены — эпидемическое заболевание, свирепствующее в человечестве.

Я стоял над Майей, она не шевелилась — спутанные волосы, трогательно тонкая белая шея, согнутая спина, поджатые ноги, даже тапочки не скинула. Я стоял затаив дыхание, и паркет поскрипывал под моими ногами. Спinoй ко мне, чувствуя, что я рядом...

Затеняющаяся луна над Настиным омутом... Розовый океан над праздничным городом... Валдайская робинзонада — ночи с кострами. Минуты в Тригорском на онегинской скамье: «Оракулы веков, здесь вопрошаю вас...» И все это, величественное, незабываемое, кончается — лицом к стене, спиной ко мне!

Я стою за ее спиной, я, раздавленный, униженный, кающийся, боюсь издать вздох, лишь паркет скрипит под моими ногами. Она слышит — я здесь! — она не оборачивается...

Я постоял и отошел. Но деваться мне некуда. На кухне неприбранный стол, на ручке двери висит ее фартучек с

апликацией — три розовых пляшущих поросенка. А в коридоре у входных дверей под порогом стоят рядом мои тяжелые тупоносые туфли и ее легкие ботики. Мы уже далеко друг от друга, а вещи все еще хранят нашу близость.

...Когда меня снова занесло в комнату, она уже не лежала, а сидела на тахте — бескостно согнутая, с обвалившимися плечиками, взлохмаченная, бледная, устало глядящая перед собой. Я навис над нею, громоздкий, раскayанный, ждущий.

— Павел... — выдавила она из себя тускло. — Нам надо побыть... по отдельности... Хотя бы сутки-другие...

Я молчал. Я мог произнести лишь бессмысленно пустой вопрос: «Зачем?» Она продолжала трудно, через силу, уставшим голосом:

— Сейчас я... к родителям... Так надо! Я им скажу, что ты... ты срочно уехал в командировку... На три дня.

Я молчал. Совершалось бегство от меня, от нашего прошлого. Я понимал, сейчас, вот сейчас лопнет соединявшая нас струна, и возможно ли будет снова связать ее?

Я молчал, остановить Майю не в моей власти. Пол скрипел под моими ногами. Она, должно быть, чувствовала мольбу в моем взгляде, а потому старательно смотрела в сторону, говорила насильственным голосом:

— Всего на три дня... Я хочу сделать себе каникулы. Павел... Да... от семейной жизни... Да... устала!..

Под дверью у выхода остались в одиночестве мои тупоносые туфли.

Человечество делится попарно — Он и Она! — так живет и только так может поддерживать жизнь, создавая себе подобных. Он и Она — самая важная связь, прочность которой гарантирует неумирание. У меня эта связь — вот-вот на пределе... Вот-вот... Если уже не лопнула.

Утром я привычно шагал в институт.

Утром?.. Нет, ненастная ночь провожала людей на работу. И лишь когда большинство примутся за свои дела, над городом забрезжит скудный рассвет, но его уже никто не станет считать утром — день давно начат. В это глухое время года у нас утра не бывает.

И пустой дом у меня за спиной. И впереди институт, который никак не может помочь мне.

Неожиданно я вспомнил слова Бори Цветика о покойном Рафке: из той породы людей — утром им неохота идти на работу, вечером домой. Я вспомнил и содрогнулся от ужаса, представил себя в этой роли — ни там, ни тут, велика планета, а мне нет на ней места!

До сих пор я не замечал, что вокруг существуют изгнанники — топчут землю и чувствуют себя на ней лишними, не знают, куда пристроиться, не ведают, зачем живут. Им даже некого винить, их, собственно, никто не гонит, сами не в силах приспособиться к миру, всюду неуютно, всюду постыло. Винить некого, но это не мешает ненавидеть — всех! За то, что все счастливее неприкаянного.

Темное утро поздней осени. Ненастный город, я в нем...

Я почувствовал ужас, и он отрезвил меня.

Мне нет места на земле?.. Как я, однако, раскис, как опустился! Меня сейчас ждут в институте — нужен! Ждет работа, которой я уже отдал кусок жизни, надеюсь отдать всю жизнь целиком. Только бездеятельный может чувствовать себя лишним, я же бездельником не был и не буду! Неохота идти на работу?.. Ой нет, мне не грозит...

Не грозит?.. Эй-эй! Только ли ты сам распоряжаешься своей судьбой? Разве не может случиться всякое? Ты застрахован от козней недоброжелателей?.. Даже люди, преданные тебе, любящие тебя, сами того не желая, могут легко подвести... Борис Евгеньевич сейчас ринулся напролом, грудью на непосильные завалы — сорвется, разобьется, будет затоптан. До сих пор он тебя надежно прикрывал, ты уютно жил за его широкой спиной. Теперь окажешься открыт, незащищен — нападут, сомнут, выбросят на сторону! Как просто стать неприкаянным.

Меня попросили поговорить с Борисом Евгеньевичем, я пока этого не сделал, сомневался, нужно ли...

Дома пусто. Он и Она — вот-вот, натянуто до предела! Родной дом — не спасение. Как никогда, я сейчас нуждаюсь в убежище. Я должен встретиться с Борисом Евгеньевичем, убедить его...

Комната кафедры прикладной химии в старом корпусе на втором этаже. Два окна, разделенные узким простенком, упирались в разросшийся во дворе тополь. Летом от его густой кроны здесь всегда было сумеречно и суетливая птичья мелочь нагло кричала в распахнутые фор-

точки. Сейчас к оконному стеклу тянулись старчески узловатые почерневшие от дождя ветки, мокрые лохмотья уцелевших листьев висели на них. И похоронно тихо в стенах.

Я ожидал увидеть Бориса Евгеньевича омраченным, с печатью усталости и страдания на челе. У него же был до обидного благополучный вид: торжественно сияющая лысина, привычная кроткая голубизна глаз и некая сосредоточенная важность в морщинах, важность уважающего себя человека.

Все, что мне говорил ректор, я добросовестно изложил, не упустил ничего, беспристрастно обрисовал неизбежные последствия: торжество Пискарева и Зеневича вместо их поражения, неприглядное положение самого Бориса Евгеньевича. Он внимательно меня выслушал и равнодушно обронил:

— Что ж... Скорей всего так и получится.

А я-то ждал резких, до негодования возражений, мол, не так-то легко меня опрокинуть. Спокойно соглашается — будет бит, — словно речь идет об очередном эксперименте, на желаемый результат которого рассчитывать не приходится.

— Получится-то некрасиво — вас выкупают в вонючих помоях! — возмутился я.

Он усмехнулся.

— А вы думали, что я жду оваций и триумфа?

— Тогда мне и совсем непонятно. Странное стремление — быть выкупанным в нечистотах.

— Оно обещает очищение от скверны, мой мальчик.

— Каким же образом?

— Меня могут втоптать в грязь, но не мое слово. Как только снова Пискарев с Зеневичем примутся за прежнее — а они иначе не смогут существовать! — так все вспомнят, что было о них сказано. Мое слово будет висеть над ними дамокловым мечом. А ради этого стоит рисковать.

— Собой?..

— Разве я кого-то другого подставляю вместо себя?

— Да. Только не вместо, а вместе с собой.

Борис Евгеньевич искоса внимательно-внимательно оглядел меня своим голубым взором.

— Вы боитесь за себя, мой мальчик?

— Боюсь, Борис Евгеньевич! И за себя, и за всех сотрудников лаборатории. Нам не дадут ни жить, ни работать. И вы это знаете!



— Знаю, что у вас могут быть неприятности. Знаю, что вы, Павел, достаточно крепкий человек, чтоб мужественно их перенести. Знаю, наконец, что все дело времени — убить навсегда ни вас, ни меня пискаревы не способны.

На минуту я подавленно замолчал. Не мог же я открыться Борису Евгеньевичу, что именно сейчас меня легко можно если не убить, то навсегда изуродовать: лиши последнего убежища, оторви от тех, с кем еще связан, останусь совсем один, без места на земле. Дело времени... А время-то смыкается над моей головой!

— Много ли изменили мир подвижники?.. Это ваши слова! — напомнил я.

Он не сразу, задумчиво ответил:

— Кто знает, что стало бы с нашим миром, если б возмущенные молчали?

— Недавно я видел мальчишку-отцеубийцу... Вы, наверное, слышали о нем...

— Слышал... Какое отношение имеет к нам этот случай?

— Пример жертвенности, Борис Евгеньевич. Мальчишка решил очистить от скверны семью. И что?.. Сделал еще сквернее. Мать, столько терпевшая от пьяницы мужа, теперь неизлечимо травмирована на всю жизнь, сам мальчишка попадет в колонию для малолетних преступников, кто знает, каким он оттуда выйдет.

— Вы хотите сказать, никакой жертвенностью людей умнее и чище не сделаешь?

— Вот именно!

— Что-то вы стали дурно думать о людях, мой мальчик.

— Дурно?.. Нет! Я лишь просто перестал верить себя, что готов умереть от любви к ним.

— Вот как! А можно ли жить среди людей, не любя их?

— Лучше спросите, можно ли вообще любить людей. Людей! Некую массу! В нашем городе пятьсот тысяч жителей, и если я вам скажу, что люблю их, то это будет несусветная ложь. Невозможно любить такое количество. А тем более четыре миллиарда на планете. Кто кричит о столь масштабной любви, тот сверхсамовлюбленный идиот, считающий, что ему все по плечу, даже объять необъятное.

У Бориса Евгеньевича сразу осунулось лицо, запали глаза, стали жесткими морщины. Он долго разглядывал

меня исподлобья, наконец заговорил, и голос его был чужой, черствый:

— Логически вы, пожалуй, и правы. Да, нельзя объять необъятное. Но столь убийственно трезвая логика может прийти в голову или уставшему от жизни человеку, или... или бездушному! А так как вам еще не исполнилось и тридцати, то устать от жизни вы вряд ли могли. Как ни прискорбно, я должен сделать для себя вывод...

Впервые за все многолетнее наше знакомство я услышал от Бориса Евгеньевича столь жестокое по своему адресу. И от отчаяния с вызовом и раздражением я заговорил:

— Жаль, что вы сами не заметили, приходится уверять: эта трезвая логика мне нелегко далась, прежде я переболел, и сильно!..

— За кого? За самого себя или за других?

— Да можно ли болеть за себя одного, всегда же с кем-то связан в один узел!

— Можно! — отчеканил Борис Евгеньевич — И вы это делаете сейчас. Не мой будущий позор вас тревожит, не судьба товарищей по работе — вы сами, ваше личное спокойствие, ваше благополучие!

— Борис Евгеньевич!..

— Да, я, Борис Евгеньевич Лобанов, бывший ваш учитель, начинаю подозревать вас в своекорыстной расщепленности. Прошу прощения, но вы сами дали мне повод к этому.

Он решительно поднялся...

Только когда оказался в коридоре, я понял, что стряслось: вот теперь-то, похоже, я останусь уже совсем один! До сих пор при всех несчастьях я мог рассчитывать — с ним не порвется, с моим духовным отцом. Порвалось раньше, чем с другими... Неисповедимы пути твои, господи! И непостижимо твое коварство!

Лодка... 14

Все перемешалось у меня, все сдвинулось, стало шатким и зыбким: родной дом страшен — беги и прячься, институт ненадежен, а человек, которого я смел называть высоким словом Учитель, с презрением отвернулся от меня. За каких-то два дня потеряно все, чего я добивался в течение жизни. Завтра утром я без охоты, насилуя себя, потащусь в лабораторию, корчась от мысли, что наш с

Борисом Евгеньевичем разлад уже известен моим товарищам. И все станут притворяться передо мной — ничего не знают, а я перед всеми — ничего не случилось.

Но до утра надо как-то еще дожить. Даже это проблема: куда спрятать себя на вечер?..

Я закатился по старой памяти в городскую библиотеку.

Когда-то я любил поплавать там в читальном зале «без руля и без ветрил», отдаваясь побочному ветерку любопытства, набирая всякую всячину. Полутьма под высоким потолком, отрешенно склоненные головы, тишина, нарушаемая шелестом страниц. Я нырял в книги, не ведая наперед, к какой гавани меня прибьет.

Все перемешалось у меня, все шатко, а потому хотелось сейчас окунуться во что-то надежное, неизблемое. Где найдешь эту неизблемость? Нынче мы даже свою планету не считаем надежной — тесна, загрязняется, грозит переменой климата, термоядерная взрывчатка прячется в ее хранилищах. Остается одно — вселенная, она тоже меняется, но для меня, микроскопически малого, ее величавые перемены равносильны покою.

Журнал, который я положил перед собой на столик, не обещал легкого чтения. Тем лучше, заставит меня забыть обо всем.

Он заставил забыть меня даже самого себя... Я ждал покоя и гармонии, а со страниц, испещренных формулами, на меня двинулись кошмары, какие не могут явиться и в бреду. Что там Иероним Босх!

Статья излагала теорию академика Маркова. Не мальчишка-прожектор, не свихнувшийся маньяк, известный физик-ядерщик из Дубны, опираясь на работы Эйнштейна, Фридмана, на новейшие достижения и своей науки, и астрономии, доказывал: необозримая вселенная, включающая в себя миллиарды галактик, а значит, несчетные триллионы солнц и таких скромных миров, как наша Земля, в своем расширении для стороннего наблюдателя должна сжиматься... до размеров элементарной частицы, то есть до ничего, практически до нуля! И такими сторонними наблюдателями по отношению к другим вселенным, о существовании которых мы пока и не подозреваем, можем быть мы с вами. В чашке чая, стоящей на нашем столе, могут оказаться тысячи, миллионы таких частиц — фридмонами назвал их Марков. В чашке чая — вселенные со звездными галактиками, с планетами, с иными цивилизациями, с существами, подобными нам, радующимися и страдающими, и стремящимися все познать! И возмож-

но, наша вселенная вместе с нами затерянно болтается в чьей-то чужой чашке чая. Бесконечно великая матрешка прячется в матрешке запредельно малой. Только свихнувшийся разум может согласиться на такую химеру.

Величественное не способно быть суетным?.. А величественного-то и нет вовсе, оно равнозначно ничтожному. Дикое тождество несовместимостей — Всего и Ничего, Бесконечности и Нуля! Природа — немыслимый оборотень! Воистину: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!..»

Я брел домой по темному городу, придавленному беспросветно темным небом. Я пытался себя успокоить...

Химера?.. Да. Но скорей всего она лишь доказывает, что торжествующая физика зашла сейчас в тупик. Не так ли было и на исходе прошлого века: озадаченным физикам, чтоб связать концы с концами, потребовался тогда заполняющий мироздание эфир, нечто неуловимо легчайшее и в то же время обладающее упругостью стали. «Стальной» эфир развеялся, а сама физика перевернулась.

Я искал оправдание химеричности человеческого разума, прибегая все к тем же разумным усилиям. А чем еще я мог воспользоваться, чтоб не сойти с ума?

Был этот мир глубокой тьмой окутан.

Да будет свет. И вот явился Ньютон.

Но сатана недолго ждал реванша.

Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше.

Сатана издевается: грядет новый переворот в науке, что-то вдруг обгонит луч света, и прошлое, того гляди, перемешается с будущим, и трехмерное уютное пространство станет запутанно многомерным, и незыблемые законы естества с грохотом обрушатся, а природа-оборотень скорчит насмешливую гримасу...

Куда едешь ты, таинственный всадник, и кто тебя посадил на коня? Человек, несущийся в неведомое!

## Глава пятая

### ПОТЕМКИ

#### 1

На исходе третьего дня Майя позвонила в лабораторию. В ее голосе были непривычные заискивающие интонации:

— Павел, папу вызвали в Москву, мама одна. Я бы не хотела, Павел, сейчас оставлять ее. Я сказала ей, что ты задерживаешься еще на три дня.

Заискивающие интонации, неискренние интонации — она лгала матери, лгала сейчас и мне. Но я был благодарен ей за то, что слышу сейчас ее голос, за то, что через три дня обещает вернуться. Я-то готовил уже себя ко всякому. Три дня как-нибудь...

Эти трое суток я — с утра до вечера, ночами перед сном — думал, думал до изнеможения.

Еще, оказывается, не разрыв, всего-навсего «каникулы», как она сама назвала. И не такие уж, в общем-то, и длительные.

Но возвращаться ей явно не хочется, попросила отсрочки, решила на ночь!

В самом деле, что ей торопиться, знает: снова ее ждет молчание по вечерам, та же скука, от которой сбежала, тот же «педобожий дом казенный», мое бессилие чем-либо помочь ей.

Ну, а чем она занимается там, в стороне от меня?..

Чем-то более интересным, если продлила свои «каникулы»?

Чем?..

И позвонила всего один раз, по крайней нужде... Мне звонить не дозволяется, я в «командировке».

Больше звонка не было. К счастью! Я боялся, придумает еще что-нибудь, лишь бы оттянуть возвращение.

И вот он, выжданный вечер.

Стучит ленивый дождь за окном, слышно глухое шевеление заполненного людьми большого дома. Я пораньше пришел с работы, подвязался Майиным фартучком с тремя поросятами, стал прибираться запущенную квартиру: пылесосил, чистил ванну до блеска, прошелся тряпкой по кухне... И вот сел, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся с лестничной площадки. Стучал дождь за окном, пробивались сквозь стены звуки чужой жизни — где-то плакал ребенок, этажом ниже хлопнула дверь, бормотал у соседей телевизор.

Нет, я не успел отчаяться. Чудо, которого, изнемогая, ждал, произошло: за дверью послышались шаги, знакомая мне летящая легкость! Меня подкинуло, рванулся к выходу, замер с ухающим в груди сердцем.

Сосредоточенное шевеление по ту сторону двери, щелкнул замок, и... она вошла. В окропленном дождем берете

на густых волосах, с мокрыми свежими щеками — и знакомая кривизна губ. Она!.. Как и мечталось!

В темных глазах метнулось тревожное, секунду стояла, потерянно уставившись, и вдруг сморщилась беспомощной, виноватой улыбкой.

— Ка-кой ты потешный!..

Я цепенел, боялся пошевелиться — исчезнет, и жуткое одиночество снова сомкнется надо мной.

— Не снимай, тебе идет...

Только тут я вспомнил — фартучек с веселыми поросятами на моих чреслах. Действительно потешно — эдакий мрачный верзила с помертвевшей вытянутой физиономией и три розовых пляшущих поросенка.

— Май-ка-а...

От моего голоса она сразу стала серьезна.

— Ну, как ты тут, — отстраненно и деловито.

Как?.. Легко спросить, невозможно ответить.

Она выскользнула из плаща, осталась в гладком обтягивающем свитере — тонкая, гибкая, с мокрыми щеками, настороженно блестящими влажными глазами.

От кофе она отказалась:

— Нет, нет, не хочу.

Из путаницы волос — розовое маленькое ухо и белая падающая шея, теплоту ее чувствую на расстоянии. Шея тонет в воротнике свитера, потайно разливается в плечи и грудь. Под свитером беспокойно и скрытно живет ее тело — неужели смел когда-то его касаться?! Из рукавов свитера вырываются руки, до прозрачности бледные, хрупкие, беспокойные. Они поминутно одергивают короткую юбку, стараясь прикрыть вызывающе твердые колени.

Неожиданно я почувствовал монолитный покой. Она рядом, значит, мир стоит, как стоял!

Я робко положил руку на ее плечо.

— Май-ка-а...

Она неловко поежилась, моя рука упала.

— Поговорим, Павел...

Рядом — да, но не вместе со мной.

Убегая от меня взглядом, она заговорила с неискренним оживлением:

— Ты знаешь, кого я за это время встретила?... Гошу Чугунова! Такой же тощий, и бороденка — словно посуду чистили...

Что-то странное в ее голосе, и слишком подозрителен ее воровато-увеливающий взгляд, и жаркий, пунцовый

румянец на скуле, и набежавшая морщинка на чистом лбу. И Гоша Чугунов вдруг, ни с того ни с сего, он, забытый, словно выеденная давным-давно консервная банка. Столько пережито, так кровоточит сейчас, не глупо ли занимать себя посторонним, ненужным?

— Ты сказала, поговорим... Давай.

— Я и говорю, вот Гошу встретила...

— Да разве это так важно, Майка? Гошу, господи!.. Только это ты и принесла ко мне?

Она гневно вспыхнула, смутилась — склоненный лоб, упавшая прядь, напряженная морщинка между бровями, пятна на скулах. Страшное смущение — с неприязнью.

Глухим и вызывающим голосом она попросила в пол:

— Тогда скажи о своем... важном.

О своем?.. Я растерялся. О том, что от меня отвернулся Борис Евгеньевич? О том, что в институте назревает большой скандал? Или, может, о том вселенски химерическом, что вычитал я в библиотеке?.. Что бы ни сказал я сейчас, все покажется так же несущественно посторонним Майе, как мне ее сообщение о состоянии Гошиной бороденки — «посуду чистили»...

Я не успел ничего сказать, она подняла на меня свои потерявшие блеск глаза.

Вопрос придушенным шепотом:

— Почему ты презираешь его?.

— Ты о Гоше?

— Да! Скажи мне о нем все, что думаешь. Пусть самое неприятное — дурной, порченный, фальшивый, подлый! И докажи. Мне очень это нужно. Я поверю... Я очень хочу тебе верить, Павел!

Шевельнулась догадка, но она была столь нелепа, столь чудовищно курьезна и оскорбительна для Майи, что заставить себя поверить в нее невозможно.

— В чем дело, Майка?

— Спаси, Павел!

— Тебя?..

— И себя тоже.

— От чего?

— От кого, Павел...

Нелепое росло, становилось явью.

— Спасти от... — я не мог произнести его имя.

— Да! Да!.. Я тебе сейчас наврала. Из трусости... Я по случайю его встретила. Нет! Сама нашла.

— Зачем?

Глушеший вопрос, но в шоке умными не бывают.

— Затем, что давно уже думала о нем...

Гримаса искажила ее лицо, она поспешно отвернулась, согнутая спина ее вздрогнула, раздался сдавленный всхлип.

— Я боюсь... Бо-юсь!.. И его, и себя... Скажи, Павел... скажи все, заставь меня поверить... Хочу же! Хо-чу!..

А я молчал, было пусто, пусто в голове, весь я пуст — ни боли, ни даже удивления, одно лишь тупое недоумение: не может того быть, не может!..

Она плакала, я бесчувственно смотрел на нее.

## 2

Даже в самые счастливые наши дни на меня иногда находило беспокойное сомнение, достоин ли я Майи. В последнее время это сомнение преследовало меня вспышками потаенного ужаса: она ошиблась во мне, жди, появится тот, кто на меня не похож, лучше, чище, значительней! И я давил эти вспышки в себе, старался не думать о нем, о достойном.

Гоша Чугунов! Вот те раз!..

И оскорбление — на кого она?! — и облегчение, почти надежда: не такой уж, право, опасный противник, я-то думал...

Я выходил из столбняка, а Майя продолжала тихо плакать.

— Это не страшно, Майка, — произнес я наконец.

Она вздрогнула и дико на меня поглядела сквозь непролившиеся слезы.

— Это скорей смешно, Майка...

Она вся подобралась.

— Гоша в роли влюбленного... Комично, Майка, не серьезно.

Ее лицо в этот момент было столь мучительно напряжено — в каждой черточке судорожная натянутость, — что казалось, держит в руке раскаленный кусок металла. Держит и терпит.

— Нет, Павел, серьезно, — проговорила она вздрагивающим голосом, — ты сам видел, с какой жадностью к нему тянутся люди. К нему тянутся, к тебе — нет! Значит, у него есть то, чем ты обделен. Случилось! И не обманывай себя, что это так... пустячок.

На меня вдруг свалилась страшная усталость. Случилось — она нашла. Нет таких слов, которые свершившее-



ся превращали бы в незавершенное, для этого надо повернуть время вспять.

— Не знаю,— сказал я с трудом,— что произойдет раньше — ты ли разочаруешься в призраке или призрак улетучится от тебя. Знаю только, это случится. Неизбежно!

И она дернулась на меня всем телом.

— Павел! Пообещай!.. Пообещай мне что-то красивое! Даже обмани! И я пойду за тобой!

— Могу тебе пообещать только одно... И без обмана, Майка... Когда ты будешь брошена и несчастна, первым возле тебя окажусь я. Приму любую и не только звуком или намеком не напому об ошибке, нет, а буду всегда благодарен... Да, тебе! Да, за то, что ты рядом! Обещаю!

Ее лицо обмякло и побледнело, глаза округлились и опять заблестели влагой.

— Ты, конечно, этому не веришь? — спросил я. — Станный же ты человек: в обман готова верить, а правде — нет.

Долго, долго она молчала, отвела глаза, с судорожным всхлипом выдохнула:

— В-верю... Спасибо, Павел.

Кажется, я победил в этом неравном поединке, заставил ее поверить себе, но что мне это может дать: свершилось, время еще никто никогда не поворачивал вспять.

Она снова тихо плакала, не осмеливалась уйти, все еще чего-то ждала. Опущенные плечи, оброненные руки, перепутанные густые волосы, плавная линия шеи, крепкие колени — бессильная. Обними сейчас ее — не оттолкнет.

А потом... потом почувствует отвращение и к себе, и ко мне. Хорошая же память — «на прощай». Да и не хочу я подачки на обездоленность!

Стучал в окно ленивый дождь... В глубине груди, за ребрами, лежало что-то лишнее, массивное, давило вниз — каменная бульга, боязно дышать. И дурацкий фартучек висит на мне — три пляшущих поросенка.

У Гоши Чугунова два достоинства: он неприкаян, он свят. Неприкаянность и святость издавна иступленно почитались на Руси. К слову убогих святителей прислушивались порой сильнее, чем к слову всесильных само-

держцев. Самый знаменитый храм Москвы стоит в честь юродивого нищего — Василия Блаженного.

Как и прежде, среди людей много таких, кому неудобно в мире сем, готовы от него спастись в мире воображаемом. Как и прежде, блаженные, не от мира сего, современного обличья, но неизменной святости, предлагают способы самоспасения. Майе неудобно, а неприкаянный спаситель может заполнить всю ее жизнь, всю, без остатка! Мне с моей приземленной трезвостью не останется в ней места.

Майка! Я отравлен тобой!

Майка! Отказаться от тебя, забыть тебя свыше всех моих сил!

Ты и в самом деле единственная! В людском половодье, что обмывает меня, другой такой нет и быть не может!

Не проживу без тебя — возненавижу людей, сойду с ума!

Уж лучше бы мне не встречаться с тобой, Майка!

Будь проклят тот день, когда я впервые тебя увидел!..

Я с содроганием вспоминал случай у загса, когда вдруг появился пророк-доброволец — небритая рожа, голос с апокалипсической страстью: «Леб-бе-ди-и бел-лья! Касаточки!.. Братья женихи! Разбегайтесь!» Один из женихов внял ему. «Сенечка! Подлец! Прохвост!! Сволочь!!» Сенечка спас себя... И Майя тогда была в белом до пят платье, на ее густых волосах висела прозрачная фата, смятенное лицо, жметя к матери... Лебедь белая...

Сжигающие мысли наедине с собой!

Я протягивал руку, чтоб выключить лампочку над головой и вспоминал — кнопки выключателя касалась ее рука! Я садился утром в кухне за стол, чтоб выпить чашку чаю, и нереально счастливое время наваливалось на меня — не столь давно она сидела напротив! На ночь я задергивал окно, и меня от затылка до пят пронзало: «Задерни шторы!» — ее далеким голосом из далекого вечера, когда она принесла коврик на пол и наша комната обрела незримую гармонию. Рядом с ней вечность!.. Не могу! Невыносимо! Сжался!..

Надо мной сжалился Боря Цветик. Он не появлялся с того памятного скандала, сейчас явился — неизменно свеж и взгляд светлых навывкате глаз немигающе прям.

— Пойдем, брат, выпьем, завьем горе веревочкой.

Я поинтересовался:

— У тебя-то какое горе?

— А у меня и нет,— ответ с обезоруживающей простотой.

Я готов был уже за ним следовать в ресторан, чтобы завить горе веревочкой... Но тут Боря переусердствовал:

— Такси ждет. Машину-то дома оставил, чтоб, поддавши, не напороться на гаишника.

Ан нет, не порыв души, Боря расчетливо готовился к визиту. Уж коль есть расчетливость, то должен быть и мотив расчета. И я сразу же разгадал его — любитель городских новостей, он явился ко мне, чтоб получить свеженькие подробности из первых рук. С тем же простецким добродушием, с каким сейчас глядит на меня, он завтра в другом доме объявит: видел его... И уж подробно опишет мое состояние, уж припомнит мои слова, когда стану «завивать горе веревочкой». И в ближайшую субботу он вместе с неизменными цветами повезет щекочущие новости Леночке из Комплексного. Они, предусмотрительно играющие много лет в любовь, будут разбирать по косточкам мою с Майей любовь — непредусмотрительную. Мне вовсе не обязательно доставлять им такое удовольствие.

— Тебя по-прежнему заедает скука? — спросил я.

— А что?.. — Мой голос насторожил его.

— Да то... Сдается мне, моя беда — для тебя лекарство от скуки. Иди, брат, поскучай, а меня уж не трогай.

И Боря Цветик ушел с оскорбленным достоинством. Все-таки кое-что он унес в клюве — моя пелюдиность может быть подана с надлежащими приправами.

Но тут же я пожалел, что выпроводил его. Мертвая тишина окружала меня. И с улицы доносился шум машины, и у соседей бормотал неумолкающий телевизор, но все эти звуки были для меня потусторонними — они в ином мире, в ином измерении. Вплотную — тишина, воистину гробовая.

Говорят, в средние века прокаженный обязан был звонить в колокольчик: берегитесь, люди, моей заразы! Сам себе создавал вакуум. Беззвучный колокольчик прокаженного звонил надо мной в обступившей тишине.

4

«Кому повем печаль мою?..»

Некому!

Нет такого на всем белом свете, чтоб выплакать свое.

Любой из моих институтских приятелей будет лишь ошарашен и сконфужен, если я решусь открыться. Да и не примет он всерьез моих печалей, непременно подумает про себя: «Э-э, перемелется...» Представить только ту же Галину Скородину в роли исцелительницы!

«Кому повем?..»

И вдруг я вспомнил — есть человек, который выслушает...

«Ты можешь недоумевать,— писал я,— можешь пренебрежительно отмахнуться, можешь и оскорбиться: ни разу не интересовался, как ты там, прижилась ли, что нашла и что потеряла, счастлива или несчастна, вообще жива ли? Вместо этого получи вопль, да еще надсадно звериный. Но уже одно то, что воплю к тебе, далекой-далекой, как-то должно оправдать меня в твоих глазах — нету никого. Ни рядом, ни в стороне, всюду пустыня! Ты, далекая, оказывается, одна на белом свете, кому могу сказать все. Ты, забытая мною, успевшая наверняка забыть меня, скорей сейчас воображение, чем человек во плоти,— единственная ниточка, которая связывает меня с теми, кого мы называем невразумительным словом «другие». Другие люди — их много вокруг, их нет для меня.

С тех пор как мы расстались, я пережил счастье... Посторонним оно может показаться обычным, для меня — головокружительное. Я любил и не верил, что полюбят меня. Полюбили! И я тогда самонадеянно уверовал в свою неповторимую исключительность. Я, не колеблясь, шел навстречу тому, что желал, и получал даже больше, чем смел помыслить. И в моем деле, тебе известном, исполнилось некое чаянье, которое можно назвать если не успехом, то многообещающей удачей. И самомнение счастливица, и самоуверенность победителя... От высоты и паденье, по грехам и заслуги.

Не сразу, исподволь началась цепная реакция...»

Все скопленное за последнее время прорвалось, и я уже не волен был остановить поток. С дотошной подробностью, с назойливой искренностью, пренебрегающей условностями и приличиями, я писал Зульфийи о развале еще не успевшей сложиться семьи, о разрыве с Борисом Евгеньевичем, о моей нынешней шаткости в институте, о той прокаженности, которую я сейчас испытываю. Потерянный — потерянной, вопль души!

«...Признайся,— закапчивал я письмо,— тебе в голову сейчас пришел досадный вопрос: а зачем, собственно, он на меня такое обрушил, чего от меня ждет, на что рассчитывает, чем можно тут помочь?.. Ничем! Ни даже советом! Я просто благодарен за то только, что ты есть в мире. Значит, мир не совсем еще глух, есть надежда — меня услышат. А большего подарить мне сейчас никто не в состоянии. И, как знать, вынес бы я вселенское безразличие к себе, не ухватись теперь за тебя. Без такой отдушины в атмосфере отчаяния, должно быть, и созревают самоубийцы. Один факт, что ты есть, уже спасение. И если еще ты отзовешься, докажешь мне, что плач мой услышан, я, пожалуй, буду даже счастлив. И копейная свеча в моей крошечности теперь — зарево.

Хватающийся за соломинку *Павел Крохалев.*

Р. С. Твоего Иеронима Босха я храню, но только как память. Я обманул тебя, что люблю этого художника. Нет, он пугал и пугает меня. Его любила моя жена...

*П. К.*».

Адрес Зульфии я знал приблизительно, написал на институт, куда она определилась. Но не перелетела ли она дальше? Навряд ли, срок еще не вышел.

Я выскочил ночью на улицу к почтовому ящику. Он с железным лязгом проглотил мое письмо. И обычная в этих случаях рефлексия — я сразу же пожалел, что послал свой сумбурный вопль. «Что мне Гекуба и что я Гекубе?»

5

В институте ощущался утробный вулканизм — слегка потряхивало, слегка чадило, пахло серой. Никто ничего решительно не предпринимал. Виновник событий Борис Евгеньевич Лобанов читал свои лекции, ходил по коридорам с высоко поднятой головой. Я видел теперь его только со стороны.

Но близилась межгородская вузовская конференция, наш вулкан мог взорваться прямо на ней, и тогда запах серы разнесется далеко за пределы института, даже города, привлечет к нам внимание.

Появилось объявление: состоится собрание профессорско-преподавательского состава. Начал действовать ректор Илюченко, и намерения его ни для кого не были

секретом — взорвать вулкан до конференции, пусть он извергнется в стенах института, пока не поздно!

Накануне собрания ко мне подошел один из диссертантов Зеневича, Лев Рыжов.

Высокий, голубоглазый, буйно блондинистый, с мужественно твердым подбородком и нежным, девичьим, кисленько-капризным ртом, он был институтской знаменитостью — прима баскетбольной команды, а наши баскетболисты — гордость города, постоянно завоевывают призы и кубки на межобластных соревнованиях. Но Лев Рыжов не из тех бесхитростных парней, кто исключительно через спорт прокладывает себе путь к успеху, не откажешь ему в настойчивости и трудолюбию: каких-нибудь полтора года назад он защитил диплом, а теперь уже толкает готовую диссертацию, имеет печатные работы, член разных комитетов, руководит научным студенческим обществом, бывает в высоких кабинетах города, его фамилия называется одной из первых, когда кто-то должен представить лицо института. Злые языки утверждают, что профессор Зеневич уже сильно побаивается своего воспитанника.

С Левого Рыжовым знакомство у меня шапочное, я успел вырасти из той аспирантско-студенческой среды, где он сейчас бурно развивает свою деятельность. Тем не менее он всегда обращается ко мне по-своему.

— Слушай, шеф, мне надо поговорить с тобой.

И двинулся по коридору, приоткрывая то одну, то другую дверь, ища свободную комнату, нисколько не сомневаясь в том, что я за ним послушно последую. Хотя в самом деле, почему я должен отказывать ему в разговоре?

Мы уселись в пустой аудитории. Рыжов не бросился сразу в наступление, а с решительностью и напором начал обходный маневр:

— Знаешь, Крохалев, что у тебя есть тайный поклонник?.. Да, да, я! Можешь сколько угодно морщиться. Мне в общем-то плевать, поверишь ты сейчас или не поверишь. Но не со старика же Зеневича мне брать пример. Он как ученый выдохся еще до моего рождения. Впрочем, и твой научный дядька — окаменевшая реликвия, хватал звезды с неба где-то в довоенные годы. И если б я, как ты, имел приход в виде солидной лаборатории, то неужели бы пошел с шапкой к Зеневичу — подкинь идейку! Нет, из пустой бочки не капнет. Держал бы я своего научного руководителя на почтительном расстоянии. Да что я тебе размазываю, ты и сам так поступаешь...

— Ближе к делу,— попросил я.— Ты ведь не для того меня зазвал, чтоб объявить мне о своем почтительном уважении к моей особе.

— Ха! Да это и есть самое главное, что твоему счастью завидую. И не я один — стоишь хорошей зависти! На много ли меня старше, а уже сегодня у тебя прочное положение в институте, завтра — в большой науке. Прямая дорога на академический Олимп!

— Ой ли?

— Ага! Сам чувствуешь, что твое, столь прочное, может обвалиться. Верь не верь, а мне вовсе не доставит радости, если ты скovyрнешься. Напротив, я, так сказать, идущий за тобой по пятам, должен понимать — нынче опрокинут тебя, завтра таким же манером могу загреметь и я...

Он замолчал, выжидательно глядясь наглыми синими глазами — не возражу ли? Я молчал, и мне, право, не стоило труда выглядеть равнодушным. Я уже понял, к чему он ведет, но помогать ему желания не испытывал, пусть уж сам справляется.

Завидует моему счастью... Его папа — довольно крупная фигура в городе, командует большим ремонтным заводом, в раннем детстве его возили на юг к морю, бассейны, спортивные секции были к его услугам. В школе наверняка его побаивались учителя — папа влиятелен, а сам своенравен; любили девчонки — красив собой; уважали товарищи — здоровые бицепсы. А он всех скопом самоуверенно презирал. Он не знает, что такое несчастье, а потому и о счастье имеет самые смутные представления. Для него любая оступка, которая задержит продвижение вверх,— уже недопустимая катастрофа. Ему кажется, что все должны содрогаться от грозящих осложнений. И сейчас он ими хочет напугать меня — тебе грозит! — насколько не сомневается, что запаникую, с головой отдамся ему в руки: «Спаси, ради Христа!»

Наглая синева в упор... Он так и не дождался моего ответа и, кажется, был обескуражен моим пренебрежительным равнодушием.

— Так вот,— уже почти с угрозой,— твой старик зарвался, и объяснять мне тебе не нужно, сам хорошо знаешь. Но его только пощиплют, посклоняют на разные лады и... оставят в покое. Даже кафедру не отнимут, все звания и заслуги при нем останутся. Словом, с него как с гуся вода, плохо-то придется тебе. Тут логика простейшая: не сам Лобанов проводит в жизнь лобановское, а

кто-то из его верных соратников, из тех, кто помоложе, поэнергичней. Уж их-то, поверь, схватят за шиворот. Да, брат, жесткой рукой! Тебя схватят и потрясут, все тобой сколоченное и налаженное передадут другому. Или не веришь, мечтаешь, обойдется?

— Вполне возможно, так и будет.

— Не будь олухом, соображай, как этого избежать!

— И вправду, как?

— Ты не только сохранишь за собой лабораторию, ты станешь полным хозяином, сам себе научный руководитель. Зачем тебе шеф? Старая утка не снесет золотое яичко.

— Так что же мне следует делать?

Он самоуверенно полагал, что люди могут быть лишь хуже его, но непременно во всем на него похожи. С такой точки зрения трудно быть пронизательным.

Он ответил мне с досадой:

— Да неужели надо, черт возьми, объяснять! Завтра собрание, следовательно, необходимо... жизненно необходимо выступить. И зачеркнуть знак равенства между вами. Не мне же для тебя составлять шпаргалочку, сам найдешь доходчивые слова?

Я выдержал паузу и сказал:

— Хорошо, я выступлю.

Впервые он засомневался во мне, поглядел с подозрением.

— Выступлю,— повторил я.— Можешь ликовать.

И подчеркнуто сердито отвернулся от него.

Ему очень хотелось мне верить, а свои желанья этот человек считал едва ли не единственным законом, которому следует подчиняться.

— Все. Договорились.

Он упруго встал, кинул на меня оценивающий взгляд, двинулся к двери. Но в дверях он все-таки засомневался, обернулся всем телом, расправил плечи:

— Не вздумай какое-нибудь коленце выкинуть. Обстановочка боевая, никаких шуточек не прощают.

Он угрожал.

— Не дрожи,— успокоил его я.— Не передумаю.

И моя досада опять его утихомирила — естественно, должен досадовать, если попал как кур во щи.

Я долго сидел в пустой аудитории, думал... Нет, не о Борисе Евгеньевиче, знак равенства с которым мне предлагают перечеркнуть, а о ректоре Илюченко. Догадывается ли он, что все его дело целиком забрали в свои руки



такие вот расторопные молодцы? Наверняка не слеп и не глуп. Можно не сомневаться, что боится — загонят в угол, уже сейчас готовит маневр на будущее против расторопных молодцов. Честный человек, но какими кривыми путями принуждает себя идти.

А левы рыжовы наглы и не изобретательны... Что ж, дураков учат.

## 6

Ни Пискарев, ни Зеневич не сидели за столом президиума. Они были в зале, среди масс, рядовые члены собрания. Разумеется, они подымутся на трибуну, но в свое время, когда скажут свое слово другие, заклеят и осудят. И можно не сомневаться, что их выступления будут снисходительными, почти всепрощающими.

Борис Евгеньевич демонстративно уселся в самом первом ряду. И кресла по одну и другую сторону от него пусты. Меня тоже нет рядом с ним. Я издалека видел его вызывающе вскинутую лысину.

На председательском месте за столом — он, ректор Илюченко. Ни мрачен, ни подавлен, ни взволнован — бесстрастен. Незнакомых лиц нет возле него, никто на этот раз не приглашен со стороны, все свои, домашние, судилице по-семейному.

Вступительный доклад делал профессор Примаков. Невысокий, стариковски хрупкий, благородно седенький, с отрешенным грустно-бледным лицом истощенного постами схимника, он был далек от всяких склок и скандалов, не исполнял никаких административных функций, тихо и кропотливо занимался своими споровыми растениями, со всеми ладил, но ни с кем особо не сближался. Не был Примаков и трибуном, красноречием особым не обладал, но, странно, как только нужно было кого-то разгромить, призывали его, тишайшего и почтенного, никому ничем не досадившего, не таившего ни на кого обиды. И он тусклым ровным голосом, без запала, со скрупулезностью ученого разбирал про и контра, и всегда так, что вина непременно оказывалась доказанной, а выводы о наказании уже напрашивались сами собой. Случалось, обстановка вдруг круто изменялась, обличение оказывалось дутым, а наказание несправедливым. Но и тогда никому в голову не приходило упрекнуть кроткого профессора Примакова. Даже самим пострадавшим. Искали и нахо-

дили других виновников, и снова на трибуне появлялся тишайший Примаков, взвешивал «за» и «против», вскрывал улики, совсем противоположные прежним.

И сейчас Примаков, едва возвышаясь над высокой трибуной седым пробором и узкими плечиками, ровненько излагал, как глубоко не прав профессор Лобанов. Он для этого занялся всесторонним рассмотрением немаловажного вопроса: что такое научная дискуссия, имеет ли право ученый с пристрастностью отстаивать свою точку зрения? Выходило по всему — имеет. Тогда почему же профессор Лобанов осуждает за излишнюю пристрастность своих коллег, Пискарева и Зеневича?..

Зал изрядно скучал, а я слушал и гадал: почему всегда Примаков и кто на этот раз его вытащил на трибуну? Не Пискарев же с Зеневичем! Ректор Илюченко? Что ж, пожалуй, Примаков его вполне устраивал: пусть обвиняет тот, кто не склонен к зашталкованности, не связан с противной группировкой, лицо достаточно авторитетное и нейтральное. Но Примаков устраивал и Пискарева с Зеневичем: конечно, всего, что им нужно, он не скажет, зато все будет выглядеть и добропорядочно, и беспристрастно. Но всего удивительней — Примаков устраивает даже меня! Обстановка сложилась не в пользу Бориса Евгеньевича, и если не Примаков, то выскочит на трибуну непременно какой-нибудь Лев Рыжов. Уж пусть лучше Примаков. Он всегда устраивал всех, даже обреченных...

Примаков добросовестно нанизывал одно умозаключение на другое, а мне стало вдруг не по себе от той равнодушной покорности, с какой этот совсем неагрессивный, скорее робкий и застенчивый человек расправляется, не испытывая ни зла, ни обиды. Да способен ли он вообще что-либо чувствовать? Как он относится к своей жене, детям, внукам? Может ли он любить и привязываться? И почему он пользуется уважением? Почему, встречаясь с ним каждый день, никто не содрогается от ужаса? Ведь все знают, что любого он может без страсти, чинно, логически доказательно обличить в преступности.

Профессор Примаков говорил, его скучающе слушали, ни на одном лице я не видел удивления, никто не испытывал страха, кроме меня. Бесстрастие докладчика словно прилипло к физиономии каждого сидящего в зале. Как жаль, что не могу заглянуть сейчас в лицо Бориса Евгеньевича, его вскинутая лысина ничего не выражала.

Примаков кончил. Медлительно, с достоинством человека, сделавшего важное, полезное и нелегкое дело, он

снял очки, собрал с высокого пюпитра бумаги, удалился к столу президиума — сутуленькая узкая спина, что-то беззащитно детское, трогательное в седых косицах, ниспадающих на воротник пиджака. Аплодисментов не было, лишь минутное неловкое молчание. Неловкое, но вовсе не растерянное и не подавленное.

Энергично, сокрушающе, скрашивая брѣские обвинения интонациями оскорбленного достоинства, постоянно повторяя: «Мы, вступающие на научную стезю... Мы, принимающие нелегкую эстафету...» — ни разу не произнося местоимения «я», прогремыхал речугу Лева Рыжов. Это тебе не тактичнейший Примаков.

— Слово имеет товарищ Крохалев Павел Алексеевич! — с недогнувшим лицом, ровным, без выражения, голосом объявил Илюченко.

А в глубине зала кто-то выдохнул:

— Ух! — словно окунулся в холодную воду. К трибуне звали ближайшего ученика судимого профессора.

На пути к трибуне я успел заметить, что Илюченко передвинулся на своем стуле, замер в неловкой позе. И это нетерпеливое движение и острый взгляд на невозмутимо каменном лице в какую-то даже не секунду — долю секунды открыли мне многое. Да, ему, Илюченко, доложили, что я согласился выступить против Лобанова. Он мог и предупредить и разубедить тех, кто докладывал. И не предупредил, не захотел, хотя и понимал — не исключены неприятные последствия лично для него. Сейчас он ждет скандала, неосознанно желает его, приготовился...

Все это не пронеслось в моем мозгу, а скорей просто впечаталось в него. Впечаталось и упало куда-то в подвальные глубокие запасники — не до переливов Илюченко, предстоит бой!

Я встал за трибуну и тут-то наконец увидел лицо Бориса Евгеньевича. Он теперь сидел прямо напротив меня. Его лицо было спокойно и брезгливо. Брезгливость наверняка относилась ко мне.

— Я было хотел рассказать вам, товарищи, — начал я, — незатейливую притчу о том, как меня вербовали в Иуды, предлагая за учителя тридцать сребреников. Мой соблазнитель только что стоял на этом месте и выступал перед вами, я рад, что могу лишний раз не произносить его имя... Но более любопытное явление привлекло мое внимание сейчас!..

Я повернулся к столу президиума, где, скромненько приткнувшись к самому уголку, безмятежно восседал Примаков.

— Позвольте вам задать один вопрос, профессор Примаков: вы-то сами, простите, верите в то, о чем говорили в течение сорока минут?

Примаков судорожно дернул тощим коленом, потерянно помигал на меня, изумленно тихим голосом изрек:

— То есть как?

— Да вот так, верите или нет в то, что вами сказано?

Переполох в старческом теле.

— Ну разумеется... Ну конечно...

— А так ли уж разумеется, профессор Примаков? Если бы мы тут обсуждали поведение не Лобанова, а Пискарева с Зеневичем, то наверняка выступали бы вы и с тем же успехом доказывали их вину, то есть прямо противоположное тому, что доказывали сейчас! Кто из вас в этом сомневается, товарищи? — повернулся я к залу.

Зал отчужденно и настороженно промолчал. И грохнул в ответ голос:

— Гнусная демагогия! Ложь!!!

Кричал Лева Рыжов.

— А, это ты, соблазнитель! Не возмущайся, ведь ты тоже не веришь, но только никогда не сознаешься — невыгодно тебе по многим причинам.

— Демагогия...

Зал вышел из летаргии, шумно заворочался, зашикал на Рыжова. Под шумок взвился чей-то выкрик:

— Вер-но! Никто не верит!

Председательствующий Илюченко постучал по графину, грозно взгляделся в зал, столь же грозно на меня, но ничего не произнес, не оборвал.

— Так вот, я утверждаю: докладчик Примаков говорил и не верил ни единому своему слову, но при этом считал — так нужно! Мы все его слушали и тоже не верили, но, как и он, считали — все в порядке, так нужно. Получается, что все мы — и те, кто говорит с трибуны, и те, кто сидит в зале, — играем в игру, где условие: ложь следует принимать за правду. Но опомнимся, эта фальшивая игра — ложь вместо правды — наша жизнь! Никто не сомневается, что брошенные профессором Лобановым обвинения в адрес Пискарева и Зеневича соответствуют действительности, но доказываем себе — Лобанов клеветает! Никто не сомневается, что склоки между группировками Пискарева — Зеневича нечистооплотны, амораль-

ны, портят и атмосферу, и людей в институте, а собираемся наказывать того, кто говорит об этом. Неужели вас не страшат последствия такой игры?

Я замолчал, молчал зал, глядел на меня, дышал.

— Вы ждете, что я стану доказывать, как это плохо, призывать вас — покончим! Не стану... Если и сейчас кто-то не увидел фальшивую игру, не содрогнулся от ужаса и отвращения к ней, то может ли слушать такой доказательства, откликнется ли он на призывы? Ну а тем, кто уже содрогнулся, доказывать необходимости нет, оглушать их призывами тоже бессмысленно. Я не могу жить, гнусно играя... Вот и все, что хотел сказать... Дуайте!

Я вышел из-за трибуны и двинулся навстречу подавленному молчанию. Сойти вниз я еще не успел, как раздался крик:

— Слова!! Прошу слова!! Заявление!.. Две минуты! — Сильный, напористый голос Левы Рыжова.

Он упругим скоком тренированного баскетболиста мчался по проходу. И вдруг остолбенело замер перед самой сценой... Трибуна, к которой он стремился, оказалась уже занятой. Над ней возвышалась седая — божий одуванчик — голова профессора Примакова. Председательствующий Илюченко растерянно взирал на него.

И тут произошло чудо. Примаков вскинул вверх сжатый костлявый кулачок, закричал рвущимся, петушиным голоском:

— Он прав... Да, да!.. Товарищи, Крохалев прав!.. Я говорил и не верил! Нет!.. Борис Евгеньевич! Простите, если сможете, меня великодушно. Выполнял условия — да, да — проклятой игры!.. О господи! Поносил вас, а сам же в глубине души преисполнен... Да! Уважения! Да! Почтительности!.. Меня втянули в эту игру не сейчас, нет, давно... Бог ты мой, лет тридцать пять назад, если не более... Был случай, потребовали: доказывай, что черное есть белое, чистое есть грязное! И намекнули, только намекнули: не справлюсь — будет плохо. А тогда намеки были страшней угроз. И я с тех пор стал доказывать. И даже оказался способен, привык, уверовал — дело делаю... Но теперь-то зачем?.. Я старый человек, время иное, никого не пугают, ничего не боюсь... Зачем?!

Примаков размахивал костлявым немощным кулачком над сединой, выкрикивал, а Лева Рыжов остолбенело стоял перед ним, а зал, обморочно замерев, слушал.

— Хотя, впрочем, так ли уж теперь безопасно... Вот

такие...— Примаков выкинул скрюченный палец на Леву Рыжова.— Думаете, такие помилуют?.. А они полны сил, энергией заряжены так, что хоть тротилowym эквивалентом их измерять, и ни чести у них, ни совести — старого и молодого с ног сбьют, в землю затопчут...

Лева Рыжов очнулся и понятился задом, задом по проходу.

— И подумать: только страх вот перед такими у меня не возмущение вызывал, не ненависть, а... уважение. Да, да, если вдуматься, извращение какое-то... Крохалев, вы жестокий урок преподали старику. И поделом... Век жи-ви — век учись. Поздно только...

Примаков ссутулился, стал меньше ростом, отвалился от трибуны.

Со сдержанной строгостью на лице поднялся Илюченко:

— Наше собрание принимает несколько стихийный характер. Требую придерживаться элементарного порядка, не устраивать Новгородское вече. Напоминаю: прежде чем выступить, следует попросить слова. Тут товарищ Рыжов хотел сделать заявление на две минуты. Мне думается, нет оснований ему отказывать. Прошу вас, товарищ Рыжов!

Зал освобожденно зашевелился, головы впереди сидящих повернулись назад. Рыжов не откликался.

— Рыжова не слышно. Тогда кто просит слова, товарищи?

— Разрешите, Иван Павлович!

По проходу двинулся плотно сбитый, массивная голова в упрямом наклоне, цитолог Бойтер. Он не был учеником Бориса Евгеньевича, а другом — пожалуй...

7

Сразу же после собрания я стал героем дня. Вокруг меня толкались, мне заглядывали в глаза, мне жали руку, говорили восторженные слова. А я не чувствовал себя победителем, испытывал нечто похожее на угрызение совести. Никак не отвага, даже не стремление к справедливости заставило меня без оглядки бросить упрек залу, а, скорей, отчаяние — нечего терять, все и без того уже потеряно. Этого не в состоянии был предусмотреть Лева Рыжов, а теперь не понимали все кругом. Кто-то однажды сказал, что если бы у людей не было ответственности

за семью, мир легче бы принимал истину. У меня ни семьи, ни будущего — пустота впереди, ничем не рисковал, никаких последствий не боялся, как легко мне провозглашать неприятную истину. Храбрость висельника, а не нормального человека.

День кончился, вечером я возвратился домой и снова оказался один.

Меня оглушил звонок. Звонили в дверь — обычное из обычных событий для любого из людей. От него не вздрагивают, ему идут навстречу без учащенного сердцебиения, со спокойной и коротенькой мыслью: кто это?.. Звонок в дверь для меня мог быть и сигналом к возрождению и убийственно досадной случайностью. За дверью могла оказаться она — берет на густых волосах, глаза в упор, знакомая кривизна губ. А могли и: «Ляпуновы здесь живут?» — «Этажом ниже, вы ошиблись».

Непослушными руками я открыл дверь. Передо мной стоял Борис Евгеньевич.

Он молча перешагнул порог, снял шляпу.

— Могу раздеться? Не прогоните?

— Борис Евгеньевич!..

Не возрождение, нет, но подарок. После Майи я больше всех на свете хотел бы видеть на этом пороге его.

— Вас сразу тогда окружили, и я не хотел толкаться в общей куче, Павел. Но не поговорить с вами я не могу... Не напоите ли вы меня чаем?

И вот мы сидим за кухонным столом. И я вновь вижу его вблизи. Лицо его еще больше усохло, щеки втянуты, глаза запали, но прежнее убежденное спокойствие в складке губ, в глубоких морщинах.

— Я посмел дурно о вас подумать, мой мальчик, и теперь мне стыдно за себя. Но что делать, все мы знаем, как ненадежны, изменчивы бывают люди, а вы тогда говорили чужие, ни с чем не сообразные слова.

— Борис Евгеньевич, вы пришли, а этим все уже сказано. Не будем о том...

— А сегодня я увидел вас в настоящем вашем качестве...

— Так и есть, в моем настоящем... А оно... оно, Борис Евгеньевич, крошечное. И нет никакой надежды на просветление. Удивляются, как я отважился на риск? Какой может быть риск у обреченного?

Из-под надрывнутого лба, из затененных впадин выныр-

нули глаза, в них осторожное внимание, в них выжидание и ничего более.

— Значит, правда то, что слышал...

Он слышал, не удивительно. У Крохалева ушла жена — эта новость прошла по институту, но никого особо не затронула, вызвала любопытство, но не вызвала острого сочувствия. Такое ли это сногшибательное известие, кругом постоянно кто-то сходится и кто-то расходится — обычно, привычно, перемелется... А вдуматься — достойно удивления: всем знакома такая беда, кто-то даже сам ее пережил, но почему-то никто не ужасается — страшно же, человек остается в неприкаянном одиночестве, отброшен в сторону от людей! Обычно, привычно, перемелется!.. Непонятная черствость.

Я не собирался подпускать Бориса Евгеньевича к своей беде, но он легко шагнул в нее с той стороны, с какой я меньше всего ожидал.

— Вы знаете того человека? — спросил он.

Вопрос в лоб о Гоше Чугунове.

— Знаю.

— Кто он?

— Из птиц божиих, что не сеют, не жнут, а сыты бывают.

— Вы хотите сказать, что он не может быть ответственным за других? За нее в том числе?..

Я даже вздрогнул от неожиданности — Борис Евгеньевич сразу же ухватился за то сокровенное, что больше всего меня мучило: не может быть ответственным за других... Безответственность моего счастливого соперника — ненадежное утешение, никак не гарантия, что Майя вернется ко мне.

— Не повторите того, что случилось со мной, Павел...

Я поднял на него глаза. Морщины, собранные на лбу, под сияющим черепом, брови, сведенные над хрящеватым носом, глубокие складки в углах сплюснутых губ — новое для меня выражение застарелой смиренной тоски.

— Для вас же не секрет, Павел, что я в свое время пережил то же самое...

— Выходит, и тут я ваш достойный ученик.

— Просто все в мире сем повторяется, мой мальчик... Вы только не знаете, и никто этого не знает, что она однажды пришла ко мне.

— Кто? Ваша первая жена?!

— Да... Но слишком поздно — десять лет спустя.

— Через десять лет! К вам! Зачем?..



Борис Евгеньевич горько хмыкнул:

— Зачем среди зимы паступают оттепели, а среди лета иногда падает снег?.. Не все-то на свете объясняется той или иной очевидной причиной. Она пришла взглянуть на меня, пригнало крутое желание, много лет ему противилась и... не выдержала. А я был давно уже снова женат, окружен заботой, очастливлен преданностью — предать невозможно. Да она и не требовала от меня предательства, ни на что не рассчитывала. Обстоятельства ее связывали еще сильнее, чем меня,— дети... У нее были две дочки от другого мужа, лишать их отца она не хотела...

Борис Евгеньевич замолчал, уставясь в пол, и морщины на его лбу были мученически сведены. Мне, несчастному, он исповедовался в своем несчастье, хроническом и, похоже, уже непоправимом. Странно, но мне стало легче — меня не только понимают, во мне, выходит, даже нуждаются.

— Кажется, это Белинский сказал,— заговорил снова он,— что нет достоинств у того, кто любит один раз в жизни, и нельзя упрекать тех, кто любит тысячу раз. Сомнительные слова. Влюбленность, да, можно испытывать множество раз, порой даже сразу в нескольких. Но любить глубоко... Какая же глубокая любовь, когда она быстро проходит, чтоб уступить место другой?.. Жизнь человеческая, право, не столь уж и долга, чтоб в ней могло поместиться слишком много чего бы то ни было большого — больших открытий, больших свершений, больших, всеподавляющих чувств!.. И когда я увидел ее, уже немолодую, уже не столь красивую, как прежде, даже скорей просто некрасивую, мне вдруг открылось тривиальное — воистину «большое видится на расстоянии». Жили нос к носу и не замечали, в каком океане мы плывем. Зато видели в нем мелкий сор: несовместимость вкусов, несовпадение взглядов, случайные минуты дурного настроения друг у друга — ничто не пропускалось и ничто не прощалось. И впечатление, что наша жизнь, по которой плывем, сплошь замусорена... Мда-а... Она уплыла в сторону и там столкнулась с тем же житейским сором и наверняка быстро оглянулась назад, наверняка сделала грустное открытие для себя: позади все-таки было почище... Для такого открытия не нужно было десяти долгих лет. И оказывается, все это время она ждала, что я подам голос, позову ее из своего далека... А я... Я был оскорблен, я был горд. Как часто за нашей гордостью прячется обычная

косная нерешительность, неподъемная вялость души... Мда-а...

— Уж на то пошло, чего же она сама не крикнула? — спросил я.

— Сама?.. А вы встаньте на ее место: она уплыла за счастьем, она пренебрегла человеком. Взывать о помощи к тому, кем пренебрегла?.. Нет, голубчик, ей крикнуть трудней, мне было куда легче. Не сделал... Не совершите того же... Я достаточно хорошо знаю вас, вы не из тех, у кого тысячу раз кратковременное может меняться на кратковременное. Вы встретили, вы полюбили, и вовсе не обязательно, что такое еще раз случится в вашей жизни...

Он не успокаивал меня, как успокаивал бы любой и каждый благожелатель: свет клином не сошелся, перемелется... В его словах было больше угрозы, чем утешения, а во мне, как ни странно, забрезжила смутная надежда, никак не отчаяние — не все еще кончено!

«...Не обязательно, что такое еще раз случится в вашей жизни...» Борис Евгеньевич не знает, как рано впервые шевельнулась во мне мечта о Ней, — мальчишкой, который устал тащить неподъемные солдатские ботинки отца по грязной весенней дороге. Мальчишка остановился, увидел вокруг себя мир и учуял, что в этом светлом мире его где-то ждет Она! Майе тогда едва исполнилось два года, мне — восемь лет. И после этого я всю жизнь ее искал — два десятка лет! Начинать искать заново?.. Рассчитывать, что на этот раз удача придет быстрее? Ой ли! Через двадцать лет! И мне уже будет вплотную пятьдесят. А сколько же той, которая должна заменить Майю?..

Она неповторима! Она единственная! Все другие для меня запредельны. Я должен Ее вернуть и ни на что не рассчитывать!

Это уже походило на решение, а каждое принятое решение — начало действий. Похоже, я возродился...

А он продолжал:

— Пишут о любви с первого взгляда... Может быть, хотя со мной такого и не случалось. Но одного быть не может, мой мальчик, — с первого взгляда понимания. Есть ли на свете такие, на кого посмотришь и сразу поймешь — человек как на ладонке? Каждый из нас с секретами... Дорогой мой, за понимание друг друга люди платят кровью, кусками жизни. Не считайте себя исключением.

Борис Евгеньевич ушел, разворошив меня: снова в

тревоге, снова в смутной надежде, снова желание что-то предпринять, идти на риск, жертвовать собой. И снова все кровоточит внутри...

Дома под дверью я увидел письмо. Кто-то бросил его в почтовую щель. На конверте ни марки, ни адреса, только твердо и размашисто выведена моя фамилия. Я вскрыл...

«Дорогой Павел!

Все, что случилось у Вас с Майей, раздавило нас. Как ни сильно мы любим свою дочь, но оправдывать ее, увы, не осмелимся. И уж тем более не можем винить Вас, скорей готовы принять вину на себя. Тяжело, горько, но приходится запоздало сознаваться — девочка выросла с сумасбродным характером. Мне, как отцу, порой даже кажется, что простонародное — мало бита, много нежена — тут вполне справедливо.

Мы и раньше были о Вас самого высокого мнения, а теперь и вовсе отчаиваемся — кого лишается наша дочь! Вы именно тот, кто со временем мог бы сделать ее полностью счастливой. Кое-что мне удалось разузнать о человеке, с которым она сумасбродно сошлась. Вот он уж никогда — поверьте, *никогда!* — не переступит наш порог, если даже трижды будет дорог нашей дочери.

Мы успели убедиться, Вы не черствы, не обидчиво мстительны, не мелочны. Догадываемся: Вам сейчас очень нелегко, смеем думать, у Вас горе. Горе и у нас, ее родителей. Общее! А потому нам не следует сторониться. Не лучше ли сойтись, попробовать как-то поддержать друг друга. А вдруг да совместно мы найдем возможность повлиять на неразумную дочь и жену.

Давайте встретимся, поговорим. А?..

Если Вы не против, то я бы предложил не откладывать встречу в долгий ящик. Не сможете ли заглянуть к нам завтра вечером, часов так в восемь? Доставьте нам эту радость. Позвоните, если согласны.

По-прежнему Ваш — И. И.

P. S. Я тороплю Вас со встречей еще и потому, что моя беспокойная служба постоянно гонит меня из дому. Скоро я буду вынужден выехать на дальний объект. Придет-

ся оставить одну отчаявшуюся и совсем больную жену, да я и сам, признаться, чувствую себя крайне плохо — сдает сердце».

Мой тесть Иван Игнатьевич первое время отпугивал меня своей замкнутостью и насупленной молчаливостью, но очень скоро я понял, что это от врожденной застенчивости покладисто-доброего человека, который может уступать всем и во всем, но лишь до тех пор, пока не затронут его убеждения, кстати, несколько чопорные и старомодные. Он, например, упрямо считал, что слишком узкие брюки и слишком широкие — признак пустоты и никчемности, а мини-юбки — безнравственности, интеллигентское происхождение само по себе подозрительно, качественны и достойны доверия лишь те, кто выдвинулся из простого народа. Я не носил ни слишком широких, ни слишком узких брюк, родился в деревне, без чьей-либо опеки, сам пробился в науку, а потому пользовался уважением Ивана Игнатьевича, тихим, внутренним, не афишированным. И можно представить, как его удручил Гоша Чугунов. Мало того, что этот Гоша разбил семью, заставил дочь изменить долгу и добропорядочности, он еще личность скандально невразумительная — то ли ту-неядец, то ли поп-расстрига, черт знает что!

Горе Майиных родителей едва ли меньше моего. Могу ли я повернуться к ним спиной, отказаться, когда они предлагают союз? Но и являться к ним в жалкой роли брошенного мужа, не сумевшего удержать ни свое счастье, ни сохранить счастье их дочери, удовольствия мало.

Утром я позвонил Ивану Игнатьевичу на работу и сообщил, что приду.

Накрытый, как и прежде, стол, воздушные пирожки с капустой, испеченные тещей, знающей, что я их очень люблю. На стене напротив меня большая фотография в рамке под стеклом — девочка, глядящая исподлобья темными глазами, у нее прямые, еще не вьющиеся волосы, тонкая шейка, большой своенравный рот. В детстве Майя не обещала стать красивой — скорей дурнушка, но явно уже с характерцем. Рядом висит безглазая, яркая, сатанински улыбающаяся маска, родственница тех московских масок, которые были свидетелями первого крупного моего с Майей скандала. Она здесь росла, чтобы встретиться со мною. Она теперь порвала с этим миром, как порвала со мной.

Иван Игнатьевич из тех, кто нескладно скроен, да крепко сшит. Он кажется слегка приплюснутым сверху — раздался вширь. Большая плоская голова лежит без шеи на массивных плечах, лицо раздвинутое, простецки добродушное, если бы не внушительно грозное украшение — колючекустистые бровищи ржаного цвета, под ними таятся глаза, нужно время, чтоб заметить их застенчивость и внимательность. Руки у него короткие, толстые, веснушчатые, покрытые густо ржавым волосом, могучие руки кузнеца-молотобойца. Иван Игнатьевич начинал свою самостоятельную жизнь подручным в деревенской кузнице.

В расплывчато-мягком, белом лице Зинаиды Николаевны, как утренние звезды сквозь кисейные облака, неясно проступают отточенные черты Майи. Больше всего мать и дочь схожи глазами, застойно-темными, реснитчато-овечьими. Но только у Майи были капризно непостоянны — то матовые, не пускающие в себя, то безумно провальные. И сколько ни ищи, ни в отце, ни в матери не найдешь той присущей Майе, хватающей за душу скорбинки, которая не сходит с ее губ, не родительское, не переданное, а благоприобретенное — оригинальное изображение господа бога.

Зинаида Николаевна старается не глядеть на меня. Как ни уверял меня в письме и в первые минуты встречи Иван Игнатьевич, что оба они высокого обо мне мнения — он и она в одинаковой степени, — однако я сейчас всей кожей чувствую: она и хотела бы сопереживать мне, да не может. Уж раз дочь сбежала от мужа, то, значит, ей было несладко с ним, материнское восстает, глаза Зинаиды Николаевны опущены к столу.

Я понимаю ее затаенную неприязнь. Больше того, я невольно чувствую себя виноватым — дурно справился с ролью мужа, — но одновременно досаую и на Ивана Игнатьевича: зачем он затеял это принужденное союзничество, где навряд ли можно избежать недоверия и неприязни.

Иван Игнатьевич осторожно расспрашивает меня о нем, таинственном и пугающем. Иван Игнатьевич хочет выпытать, какими же достоинствами он соблазнил дочь.

— А вы его хорошо знаете, Павел?

— Достаточно.

— Я, конечно, очень хотел бы услышать, что, собственно, это за личность, но понимаю, вам, наверное, и неприятно о нем говорить, и трудно быть к нему объектив-

ным. Скажите мне лишь одно, Павел: что же этот человек может пообещать ей такого, чего вы были не в состоянии дать?

— Сомневаюсь, чтоб он что-то ей обещал.

Я не решаюсь упомянуть об иллюзиях, которыми богат Гоша Чугунов. Майины родители тут могут понять упрощенно — обманщик, соблазнитель, не более того. А это походило бы уже на ложь.

Иван Игнатьевич удрученно молчит. И тогда задает вопрос Зинаида Николаевна, более существенный и коварный, нацеленный против меня:

— Павел, если бы не он... Кто другой мог бы появиться?..

Мне ничего не остается, как признаться:

— Наверное, появился бы...

— Как?! — изумляется она. — Так разве не в нем причина?

— Причина — Майе было плохо со мной.

Я прекрасно сознаю, как убийственна сейчас моя искренность, но влиять и выгораживать себя не хочу. Уж пусть Майины родители обо мне нелестно думают, зато верят мне.

Иван Игнатьевич подавленно молчит, а Зинаида Николаевна, скрывая вражду, изумляется:

— Зачем же вы так... на себя?..

— Ей было плохо со мной, — повторяю я, — но повинным в этом себя не считаю.

И Зинаида Николаевна подобралась.

— Значит, она виновата?

— А если виновников нет?.. Вы можете себе такое представить?

— Но случилось же! Случилось! Что-то послужило причиной.

— Что-то — да, но не кто-то. «Любовная лодка разбилась о быт» — это сказал Маяковский и пустил себе пулю в лоб. Виновников, насколько я знаю, он не искал.

— Павел, — снова заговорил Иван Игнатьевич, — вы же не считаете, что ей с ним будет лучше?

— Если б так считал, то ни на что уже не надеялся. А я все-таки еще надеюсь... Да, на ее возвращение.

Иван Игнатьевич подался на меня.

— Вы надеетесь, но, Павел... Прежде чем она разберется и захочет вернуться, может случиться всякое. Будем говорить без обиняков: могут появиться дети, Павел, которые намертво привяжут их друг к другу!

— Тот человек не способен создать семью и заботиться о детях. В этом я убежден. Тогда-то она и вернется ко мне, другого выхода у нее просто не будет.

— Но вас... Вы же живой человек, Павел, вас это должно глубоко оскорбить.

— До оскорбленного ли мне самолюбия, Иван Игнатьевич, если стоит вопрос, жить мне или не жить дальше?

— Вы чувствуете в себе силы простить ее?

— Я чувствую в себе большее — силы ждать ее.

Иван Игнатьевич, насупив брови, взглядывался в меня.

— Спасибо, Павел... — сказал он тихо. — Вы сказали все, что я хотел от вас слышать. А остальное... — Он взглянул на часы. — Остальное скажет она... Хотел бы я, чтоб моя дочь была столь же искренна с нами, как и вы.

— Скажет?.. Она?! — Меня насторожили не столько слова Ивана Игнатьевича, сколько его взгляд, брошенный на часы.

— Павел, я не решился вас сразу предупредить — я пригласил сегодня и ее. Она с минуты на минуту должна прийти.

— Она знает, что я здесь?

— Нет, конечно. Отказать нам во встрече она не могла, а вот встретиться с вами... Тут я не был уверен, что она захочет. А мне очень нужно, Павел, спросить ее при вас: почему?.. Пусть ответит в глаза нам всем.

У меня в голове закружилась карусель. С минуты на минуту... Она придет, увидит меня и подумает: цепляюсь за родителей, настраиваю их, отец вытащил ее по моему настоянию!.. Она вспылит, и произойдет что-то для меня постыдное. С минуты на минуту... А я как хочу ее видеть! И удастся переброситься с ней хотя бы парой слов... Но слова-то ее навряд ли меня обрадуют. Хорошенький же подарочек преподносит мне Иван Игнатьевич!..

Возмущаться сейчас было нелепо, да и некогда — с минуты на минуту...

Я успел только криво усмехнуться:

— Не в слишком выгодной позиции я предстану... — как в прихожей раздался звонок...

Я не так уж и долго не видел ее. Прошло всего чуть больше недели, как мы расстались. Одна неделя... Какого напряжения мне стоило переплыть через нее — бесконеч-

на, уже обессилел! А быть может, придется продираться через годы и годы. И только что самоуверенно похвалился: чувствую в себе силы ждать ее.

Стремительно летящая походка, словно ветер ворвался в комнату, запрокинутая, с тяжелой копной волос голова, чуть суше стало ее лицо, чуть чеканней и горделивей. Пожалуй, она теперь красивей прежней, а может, просто потерянное всегда кажется прекрасным.

Она увидела меня — брови словно выскочили вперед, губы дрогнули, в глазах вспыхнула затравленность.

Отец поспешно и внушительно объявил:

— Устроил эту засаду я. Павел не знал, что ты при-  
дешь.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй, Майя.

Решительно уселась за стол рядом с матерью, наискосок от меня.

— Мама, налей мне чаю.

У матери задрожали щеки и подбородок, она всхлинула, слепо стала шарить по столу.

— Мам-ма-а!

— Ничего, ничего, сейчас пройдет... Съешь пирожка, доченька. Ты не голодаешь?..

— Нет, мама, я сыта. Мне хорошо, мама, не надо плакать.

Майя говорила с преувеличенной твердостью, но губы ее кривились и глаза подозрительно блестели.

— А ты не ошиблась, дочь? — сурово спросил отец.

— Папа! Я нашла, что искала!

— Объясни нам, что.

— Себя нашла, папа. Кажется, нашла!

Майя... Вот она, с родным изломом губ, выстрадавшая, близкая и недоступная. Ей тоже наверняка мучительны эти вопросы, а для меня они вовсе пытка. Я — неприятное прошлое, которое насильно пытаются ей вернуть. Я должен присутствовать при этом насильничании, а потому мне придется выслушать из ее уст, что был по-мехой, стал ненужным — казнь! казнь! И она только что началась, разговор еще по-настоящему не завязался, все истязания впереди. Зачем?! Никто из присутствующих не хочет творить надо мной бессмысленную жестокость, меньше всех — Майя. Но они уже сами не вольны в себе — ломают, искровенят против желания. Лучше всего встать бы сейчас и уйти, но... оскорбительно, недостойно, совсем уроню себя в их глазах. Кровь стынет в жилах от



мысли, что придется перетерпеть. Я сидел окаменевший.

Отец допрашивал ее:

— Что значит — себя, дочь? И что значит — кажется? Ты сделала отчаянное дело и не уверена до конца, права ли?

— Права. Чувствую, нашла, нашла, что давно вслепую искала.

Мать Майи, Зинаида Николаевна, по простоте душевной не понимала и не принимала сложностей и недомолвок, а потому спросила с бесхитростной бабьей прямоотой, заставившей меня содрогнуться:

— Что, он сильнее тебя любит?

Майя нахмурилась и промолчала, ей было неловко передо мной, она жалела меня, боялась глядеть в мою сторону. Отец угрюмо проворчал:

— Не задавай, мать, пустых вопросов. Иначе, как без ума, мол, ответить не сможет.

Майя тряхнула волосами.

— Любит?.. Да! Сильней?.. Не знаю!

— Ка-ак??! — обомлела мать. — Не знаешь даже, как любит?

— Не знаю даже, сильно ли сама его люблю. Его самого, а не все, что с ним...

И тут возмутился отец, навесив колючие колосовые брови, загремел приглушенными перекатцами:

— Опомнись! Что ты говоришь?.. Порвала с кровью... Не березовый чурбак перед тобой, взгляни, живой человек! Ты ему всю жизнь разворотила. Тут одно оправдание может быть — невмочь, лихое схватило, простите, справиться с собой не могу. И вдруг хаханьки — сама не знаю, то ли сильно, то ли так себе. Задешево жизнь разбиваешь вдребезги! Как только язык повернулся признаться?! Ты ли у нас такая уродилась — легкий пар вместо души, или время нынче дурное — человек с человеком ничем не крепится? Ну не пойму! Не пойму! Разойтись, порвать, чтоб снова жить некрепко... Жуть берет.

Он громыхал, а у Майи разгоралось лицо — не смущенно, не оскорбленно, скорей счастливо.

— Папа, а давно ли ты сам благословил меня на такое же?..

— Я?!

— Мамочка! — Майя качнулась к матери. — Больше всего на свете я люблю тебя и... папу. Люблю и любила!.. Павел... — Горячее лицо, умопомрачительно прекрасное, с увлажненными сляющими глазами, повернулось ко

мне: — Когда мы сходились, ты, конечно, догадывался, что своих отца-мать люблю больше, чем тебя. Тебе и в голову не приходило меня упрекать, естественно... — Осветившее меня лицо отвернулось в сторону отца. — Любила вас больше его, а ушла-то к нему! И вы оба, папа-мама, считали: так нужно, так нормально. Понимали, что не возле вас, а возле него могу найти настоящую жизнь. Не обязательно более счастливую — настоящую! Вот и сейчас я ушла в другую жизнь... Почему вы в панике? Почему слезы, мама? Вы радоваться должны!

— Настоящая жизнь... без большой любви с тем, с кем собираешься жить? Да возможно ли это, дочь?

— Верно, доченька, верно отец говорит.

В два голоса с болью и тревогой.

А Майя светилась и улыбалась.

— Ничегошеньки вы не поняли... А ты, Павел?... Хочу, чтоб ты понял: ушла от тебя не просто потому, что сильнее полюбила другого...

Когда ее лицо обращалось ко мне, ее глаза устремлялись на меня, ее голос звучал для меня, я в смятенной панике забывал свою беду, все готов был простить, со всем смириться. Трын-трава в эти секунды!

— Сменять человека на человека — и только-то?! Мало! Мало! Просто любить мужа, как это скучно — уткнуться в кого-то одного! Павел, он мне открыл, что можно любить многих, купаться в любви. Со старухой одной столкнулась, всю жизнь уборщицей работала, под унитазами подтирала, сына без мужа вырастила. А сын-то теперь гонит ее от себя — женился, а жена старуху терпеть не может. Раньше бы я мимо прошла, головы не повернула. Теперь ее беда — моя беда, безразлична эта чужая старуха, люблю ее, болею за нее, сердце надрывается, что ничем ей помочь не могу, только утешить... Я прежде всего недовольна собой была, а от этого и все кругом противно становилось и тебе, Павел, жизнь портила, а ведь нынче я даже иногда горжусь собой... Иногда, когда у меня хорошие слова к людям находят. И знаешь, люди любят меня мной... Радость каждый день, маленькая, неприметная со стороны... Папа, пойми, для меня не он один главное, а все, что вокруг него... Он мне другой мир подарил!..

Майя упруго поднялась со стула — с пылающими скулами, с доверчивыми глазами, удивленная и опьяненная, — ее чистый альт звенел по комнате:

— Он!.. Он не имеет ни своего угла, ни теплого паль-

то, ни зарплаты даже, которая могла бы его кормить. Ему от людей ничего, а он людям все: свое время, свои мечты, свои радости, наконец! И люди берут у него... Да, да, берут и чувствуют себя от его подарков счастливее, чем были. Пусть немного, пусть чуть-чуть... Он для людей, но кто-то же должен и для него! Кто-то должен скрасить его одиночество, согреть его своим теплом. Так вот — я, я! Готова на все!.. Скажешь, папа, не настоящее? Кого-то счастливым сделать, знать, что без тебя человек задохнется... Нет, нет теперь у меня сомнений — мол, живу, не знаю для чего, без толку! Не лей, мама, слезы по мне, не надо... Я, мама, теперь не одного люблю, я весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..

Но мать Майи клонилась к столу и плакала, а отец сутулился, мрачно завесив глаза бровями.

А я был ослеплен, раздавлен. Передо мной, словно вспышка сверхновой звезды, произошел катаклизм, величественный и всежигающий.

Лихорадочный румянец окрашивал ее щеки, глаза иступленно блестели.

## 10

Поздний вечер, сыро, холодно, но дождя нет. На автобусной остановке молчаливые люди, терпеливо ждущие одного — понасть домой, лечь спать, закончить еще один затянувшийся день.

Сутулый мужчина в очках, с внушительным портфелем. Старик с одышкой, крупен, породист, важен, а рукава старого пальто обтрепанные, и жеваное кашне не прикрывает грязную сорочку. Девица, не юная и не перезрелая, не миловидная и не безобразная — жиденские кудельки из-под шляпки с фестончиками, какие уныло нылятся в витринах наших промтоварных магазинов. Стоят и другие, столь же молчаливые, столь же замкнутые в себе люди, нечаянно оказавшиеся со мной рядом на минуту-другую. Люди, которых я никогда больше не встречу и не вспомню.

Но я сейчас озарен, я чувствую себя ясновидящим. Этот сутулый, в очках, самый терпеливый на вид, — жертва опрометчивой торопливости: поторопился жениться, поторопился нарожать детей, сейчас, не утихая, торопится заработать, чтоб прокормить семью, рвет, где только может, сверхурочные. Он уже устал, наверное, очень, жа-

лется на сердце, но не решается передохнуть. И возможно, ему еще отравляет существование престарелая теща.

Старик с одышкой был когда-то барственно красив, знал много женщин, ни одну не считал достойной себя. Давно уже он всеми забыт, зарос пылью и паутиной, вот-вот умрет от своей астмы, и никто ему не придет на помощь, и за гробом его пойдут случайные люди. Где-то в ветхом ящике он, наверное, хранит, как святыню, какую-нибудь реликвию своей победной молодости — веер или кольцо с камушком провинциальной актрисы. Верит теперь, что ее любил, ее одну, ошибается — любил только себя. Но все равно щемящая к нему жалость.

А почему-то больше всего жаль девицу, самую благополучную из тех, что стоят сейчас рядом со мной. Она ничем особым не одарена, но ничем и не обездолена. Она рано ли, поздно непременно найдет себе мужа, такого же неприязнательного, совет семейное гнездышко, нарожает похожих на себя детей... Она никогда не узнает ни лютого отчаяния, ни самозабвенного восторга. Потому-то и жаль ее, жаль до тоски — полусумеречная жизнь без ярких красок. Из-под ширпотребовской шляпки с фетончиками не увидит неба. А как часто оно будет сиять над ней!..

Недавно я был слеп, в голову не приходило попристальной взглянуть в тех, кто рядом, в тех, кто проходит мимо. Но только что испытал потрясение. Майя!.. Кажется, знал ее насквозь, знал и удивлялся, удивлялся и любил, любил и безумствовал — все в ней, до боли близкой, дорого, какие уж тут тайники. А она сейчас вспыхнула, осветила не только свое, мне неведомое, но и разбудила меня. Сверхновая звезда! Ослеп на мгновение и прозрел к многокрасочности — вижу вглубь людей, вижу их прошлое и будущее. Вижу и не могу не сострадать им, только вот еще не умею к ним подойти. Хотелось бы убедить того, в очках: не суетись, не рвись, не надрывайся по мелочам, семья от этого сильно не пострадает. И старику можно бы сказать, что величав, сохранил еще львиное, выделяется из толпы, пусть утешится хоть на один вечер. А девицу надо бы растревожить, пробудить ее так же, как меня пробудила Майя, к многокрасочности! Нет, я еще не волшебник, я только-только начал учиться. Мне нужен учитель — она, способная преображаться и преображать!

Сверхновая, вспыхнувшая?.. От него, от Гоши Чугунова?!

Во мне все стало дыбом против этого человека. Не могу принять — освободил себя от простых человеческих обязанностей, даже от обязанности добывать себе хлеб насущный. Даже себя, а уж других-то не накормит. Раньше спекулировал в забегаловках своей подозрительной свободой, теперь продает в розницу господу бога. Не могу принять.

Но Майя-то вспыхнула! С тобой не было, столкнулась с Гошей — случилось!

Она сегодня сделала меня ясновидящим, а потому я, кажется, узрел то, что до сих пор было скрыто. Мне нужна Майя — жить для нее, заботиться о ней, ради нее сворачивать горы, изобретать перпетуум! Но, наверно, столь же нужен был ей и я — для меня жить, обо мне заботиться, ради меня свершать удивительное.

Вспомни, как в трудную минуту она обронила: «Стань больным...»

Тогда бы она заботилась, тогда бы чувствовала себя нужной. «Стань больным» — от великого отчаяния можно сказать такие слова. И они меня не пробудили. Она продолжала жить бездеятельно, чувствовала себя ненужной. В конце концов вот не вытерпела...

А Гоша существует всегда за счет кого-то, всегда нуждается в чьей-то помощи и заботе. Как просто быть ему нужным. Она будет греть его своим теплом.

Да, Гоша — та спичка, которая вызвала пожарище! Хочешь не хочешь, а признай.

Как только не причудничает капризная судьба!

За щедрое тепло все-таки надо чем-то платить, хотя бы тем, что содержать привыкшую к удобствам Майю. Вот на это Гоша навряд ли способен, он скорее предпочтет мерзнуть.

Подошедший автобус забрал без разбору всех со всем их житейским. И меня в общей куче.

Я ехал домой в странном состоянии — горе смешалось со счастьем, потеря Майи с открытием Майи. Меня лихорадило. «Стань больным...»

А ведь, если я заболею, Майя знает, что за мной сейчас некому ухаживать, кроме разве соседей. Она не выдержит, примчится, не сомневаюсь в том.

Больным?.. Если бы... Я много лет ничем не болел, только насморком. Не свалился в постель и на этот раз.

Мой вопль долетел до Зульфий, она откликнулась — голубой простенький конверт.

«Мой милый! Мой забытый! Мой памятный!

Я получила твое письмо в день своего рождения. Увы, мне стукнуло тридцать восемь. Но на самом деле больше, я старая, старая, разучилась чему-либо удивляться на свете. Ничуть не удивляюсь и твоей беде — обычно.

Знаешь ли ты, что я, встретив тебя, жила в ожидании и затаенном хроническом страхе: вдруг да кивнешь — идем со мной! И побежала бы, стала бы другом и рабом, преданным и обезличенным. Но ты из тех, кто выдумывает себе идолов и поклоняется только им. Я же была не выдуманной и не сочиненной — некий одушевленный кусок трезвой действительности, не поражающий воображение, возможно, даже не очень приглядный. Я не подходила, а, право, жаль, потому что умела лучше тебя самого видеть то, что тебе нужно. Я угадывала бы, где ты можешь споткнуться, и умела бы вовремя предупредить, я знала бы наперед, какая твоя мысль исполнится, а какая бесплодна, и с бережностью пропальывала бы сорняки. И прощала бы твои слабости, и, наверное, смогла бы даже не дать почувствовать тебе бремя своих лет.

Ага, подумаешь ты. Вовремя же упреки, вот она, бабья месть! Может быть, чуть-чуть ты и прав, лишь самую малость. Но мне простительно слегка ковырнуть больное — свое, а не твое — уже потому, что я тогда слишком тщательно его от тебя прятала. Ты догадывался лишь о малом. Сейчас в отчаянии взываешь о врачевании, не подозревая, что когда-то сам нанес рану. Она заросла, мой милый, но еще саднит.

Итак, тебе нужна помощь... О, это для меня не шуточное. Просто словом, как ты просишь, отделаться не могу. Я не сразу села за ответ, я думала несколько дней и ночей... И решилась!

Что ж, готова помочь, но сильно сомневаюсь, примешь ли ты мою помощь.

Надеюсь, ты не слишком высоко подпрыгнешь от удивления, если я объявлю тебе старым стилем: я помолвлена! На современном языке это означает: готова стать женой почтенного человека. Ему скоро стукнет шестьдесят, как, впрочем, и мне сорок. Он профессор, и толковый, три года назад овдовел, один из его сыновей уже штурму-

ст вулканы Камчатки, второй вот-вот окончит институт. Он умен, добр, лишен амбиции, даже несколько бесхарактерен, словом, меня с ним ожидает покойная жизнь.

Так вот, я готова отвернуться от этой жизни и от этого человека, ринуться к тебе, неустроенному, ненадежному, любящему другую. И никаких обязательств от тебя требовать не стану, и на прочный союз до гробовой доски рассчитывать не хочу, и опасение, что ты, обрета уверенность в себе, вновь сотворишь себе кумира и потянешься от меня к нему, не остановит. Пусть!.. Но буду рядом, пока тебе плохо, разделю твое одиночество. Для меня, я поняла, и это уже достаточная награда. Хочешь? Позови!

Заранее представляю, как ни безвыходно сейчас тебе, однако столь неумеренная решительность может привести в смущение.

Тебя смущает? Ты боишься ответственности?.. Ладно, не надо. Тогда уж наберись мужества и справляйся один. Но помни при этом — есть человек, готовый тебе помочь. Он предлагает единственное, что имеет, — самое себя! Большого уже никто тебе не предложит.

И пусть это как-то утвердит тебя в твоих глазах — не для всех ты лишний и безразличный!

Твоя *Зульфия*».

«Господь бог коварен, но не злонамерен». В разгар отчаяния он не добывает меня, а преподносит незаслуженный подарок. Не всем выпадает в жизни такая щедрость — меняю собственный покой на твои страдания! И нужно быть совсем бездушным истуканом, чтоб не чувствовать себя уничтоженно виновным — не в состоянии ответить тем же, не так богат.

Конечно же Зульфия и сама не верит — приму все, что она предлагает. Не настолько же я бесстыдно эгоистичен, чтоб ломать чью-то жизнь и обломками укреплять свою.

Хотя где еще можно столкнуться с такой самоотверженностью до самоотречения. Единожды не выпадает, уже на дважды нечего и надеяться. Пропустишь — не повторится!

Не проходи мимо редкостного! Не обворовывай себя!

Но мне весь мир застит она. Она одна!

Да, Зульфия, быть может, способна соперничать с ней в величии души. Только я не столь уж и много знал о душе Майи, когда полюбил ее.

Полюбил, а за что, собственно? Скорей всего за нич-

тожно малое — за своенравный изгиб губ, временами пронзительно трагический, хоть умри. Ни у кого из женщин на свете такого нет...

И знаю же, давным-давно знаю, что этот трагический изгиб — никак не отражение души, не ее собственность, просто игра природы. А поди ж ты... Коварная, однако, игра!

12

Иван Игнатьевич иногда звонил мне на работу. Но наши телефонные разговоры каждый раз уныло гасли, словно свеча под стеклянным колпаком. От них на весь день оставался угар.

В последний раз он обронил — намеренно или печально, бог весть — адрес Майи: Молодежная улица, дом 101. Все та же Молодежная улица — новая Галилея новоявленного Христа.

Я узнал, каким автобусом туда ехать, примерно представлял, на какой остановке сойти, и все путешествие могло занять лишь от силы полчаса. Она совсем рядом — полчаса езды! — но постарайся забыть об этом.

Забыть?..

Догадывался ли Иван Игнатьевич о фатальной власти оброненного им сведения? Уж коль ты его получил, то не выбросишь, не отделаешься — угнездишься, как вирус, начал час от часу расти, крепнуть, отравлять и без того отравленное существование.

«Не лей, мама, слезы по мне, не надо... Я... весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..» Нет сейчас такой силы, которая заставила бы ее усомниться в своем счастье. Только время может вывести из заблуждения. Почему бы и с ней не случиться тому, что столь часто бывает с другими: чем больше опьянение теперь, тем сильнее похмелье со временем.

Головой я понимал — надо ждать, ждать и только ждать. Но человек менее всего приспособлен к ожиданию. Пассивное ожидание — бездейтельное оружие самых примитивных. Простейшие бактерии способны замирать на многие тысячелетия, дожидаясь благоприятных условий. Собаку заставить ждать куда трудней, чем выполнить сложное для нее действие. Человек — самое деятельное, самое нетерпеливое существо, ожидание противно его природе.

А я сейчас не был даже нормальным и уравновешенным



человеком. Я сутки за сутками, с утра до ночи, минута за минутой сжигал себя. Я думал о каком-нибудь затруднении в эксперименте, расчетливо сопоставлял новые данные со старыми, но на задворках этих рассудочно-холодных мыслей неизменно стояло зарево — она, негаснущая! Я перебрасывался со своими сотрудниками равнодушными или деловыми словами, но они, мои слова, плавали, как пена, на кипящей, клокочущей лаве — она и все несчастья, с ней связанные. Я сотни раз за день испытывал переливы — от глухой тоски к каким-то смутным надеждам, от надежд к беспросветному отчаянию, — и причиной была опять она, только она. Я с трудом засыпал теперь каждый вечер, и всегда с последней мыслью о ней, просыпаясь утром, я сразу же вспоминал ее. И это мне-то нужно набраться терпения — ждать... Сколько? Год, два, неизвестно. Мне замереть, впасть в анабиоз? Где уж, горючадным пламенем.

Как мог, я крепился, но вирус сумасшествия плодился во мне.

Темным дождливым утром я вышел из дому, миновал автобусную остановку, до которой прежде провожал Майю. Миновал и двинулся дальше по Большой Октябрьской, едва ли не самой шумной и людной улице нашего города. И я, нет, не чувствовал себя в те минуты особо отчаявшимся или особо подавленным, не утомлен, не разбит, даже сносно спал эту ночь.

И вдруг шагах в десяти впереди себя я увидел... ее! Фонари натужно светили сквозь сеявший дождь, мокрый асфальт гримасничал в отвесах огней, деловитое шарканье сотен ног, влажный шум скатов по мостовой, рычание грузовиков. До оскомины знакомое кругом, ежеутреннее. И среди этого ежеутреннего, под косматящимся в мелкой мороси фонарем она, напористо устремленная, в незнакомой мне шляпке, в знакомом плаще, перетянутом поясом, несущая себя летящей походкой куда-то прочь от моего дома и от меня. Обвалилось сердце, секунду стоял, хватал ртом влажный воздух — и рванулся, чуть не сбив с ног встречного...

Мимо гастронома с еще темными витринами, мимо комбината «Химчистка», к кинотеатру «Радуга», где я когда-то впервые прикоснулся к ее руке... Я спешил за ней, боялся приблизиться и боялся потерять из виду — среди чужих спешащих людей, сама чужая, не ведающая обо мне, проходящая...

На перекрестке за кинотеатром «Радуга» она остановилась, нетерпеливо дожидаясь, когда пройдет поток машин. Я даже не успел подойти к ней поближе. Как только она остановилась, я сразу понял — ошибся, совсем не похожа, даже фигурой. И эта нелепая шляпка на волосах, и неаккуратно пузырящийся плащ... Издалека на секунду мелькнуло лицо — не слишком молодое, до обидного простоватое, оскорбительно несовместимое с тем, каким бредил я.

Я дождался, женщина двинулась через мостовую — походка-то должна же быть похожа... Но нет, грубо энергичная, порывистая, вовсе не летящая.

Вечером, возвращаясь, вновь проходя мимо кинотеатра «Радуга», я вспомнил утренний случай и не устыдился оплошности — почему бы и в самом деле случайно не встретить ее на улице, могут же быть маленькие чудеса? Совсем маленькие, ну, скажем: открою сейчас дверь в комнату и увижу, у порога стоят ее ботинки рядом с моими домашними шлепанцами...

Может быть, почему бы нет... И я ринулся вперед, прорываясь сквозь прохожих. Я, конечно, пытался охладить себя: не дури! С чего бы это вдруг! Возьми себя в руки!.. Но ботинки перед глазами рядом со шлепанцами...

Вверх по лестнице на пятый этаж я бежал бегом, перемахивая через несколько ступенек. Ключ долго не попадал в замочную скважину...

У порога лежали мои шлепанцы, поношенные и отрезвляюще одинокие. Самый воздух в квартире казался чердачно-нежилым.

Но она, недоступная, как мираж, близко! Молодежная улица, на автобусе меньше чем за полчаса.

### 13

Я почти забыл о нем, как почти забыл случай с мальчиком-отцеубийцей. Серое утро, толпа перед домом, незнакомец, отыскавший меня взглядом в толпе, — утонуло в памяти, погребено под свалившимся на меня несчастьем, а казалось же, весь век будет саднить и сводить с ума, не излечишься! Нет, другие раны теперь кровоточат.

Но в этот вечер, как только я потушил свет, он вдруг явился ко мне. Странно, без всякого повода, ничем не вызванный. С отчетливостью более яркой, чем наяву, я увидел его: шляпа, надвинутая на лоб, крупное, пожалуй,

даже породистое лицо с резкими складками, обличающими недюжинный характер, и глаза, устремленные на меня, то ли во мне открывшие что-то, то ли что-то от меня ждущие. Незнакомец — человек-загадка! Почему я, именно я из всей толпы? Что он открыл и чего ждет?..

Ночь. Тяжелая, непробиваемая осенняя почь, способная заставить даже счастливца поверить в одиночество. Она мне, заброшенному, привела товарища, таинственного, как судьба. Ворочаясь под одеялом, я разгадывал тайну — его и свою одновременно.

Сам ты только слышал, а он-то видел тогда своими глазами, что стряслось. Ты отравился, он по давню должен быть отравлен. Ты испугался за людей — не светопреставление ли грядет? — почему его не мог охватить ужас? Поставь себя на его место перед толпой, кого бы ты в ней стал искать? Счастливцев! Да, чтоб убедиться — они не миф, не выдумка, есть на земле, жизнь не вырождается.

А рядом с тобой была Майя, она бросается в глаза, ее всегда замечают среди других. Ты с ней, как же тебя не принять за счастливца, как не порадоваться такому чуду, мысленно не потребовать: берегите, может быть утеряно. Увы, не ясновидец, а заблуждавшийся. Ты и тогда уже счастливым не был.

Он мне стал братски родствен, тот незнакомый человек, то же чувствует, того же желает, не чужак и никак не враг.

Ночь, утопившая в себе все кругом, у меня, одинокого, в гостях призрак друга. Всего-навсего призрак, но и тому рад...

Я клочковато спал, всю ночь продирался к черному утру, встал с каким-то неясным и неприятным ощущением — то ли я что-то потерял вчера, то ли сделал что-то постыдное, то ли жду каких-то неприятностей. А какие там неприятности? Все неприятное уже со мной случилось, день грядущий мне не может ничего обещать. Ровно ничего!

Перед этим необещающим днем мне надо было себя покормить. Я пошел на кухню, поставил на плиту чайник.

Над кухонным столом висел отрывной календарь, я каждое утро срывал с него листок — не прошедший день, а день начавшийся. Сорвать и выбросить, считать, что минул, — жалкая подачка моему ожиданию: время работает на меня.

Сорвал я и теперь — 29 ноября, пятница. В этот день

в 1920 году была установлена в Армении Советская власть. Возможно, там уже готовятся к празднику. Возможно, там не льет дождь, над горами восходит солнце, окрашивает их в фантастические цвета. Южная, неведомая мне страна, хочется верить, что там сейчас все иначе...

Других исторических событий, случившихся в этот день, календарь не обещал. Хотя... Вот те раз! Мелким шрифтом под «пятница»: «Сегодня полное лунное затмение».

В этом году второе. Я-то думал, что такое случается очень редко, далеко не каждый год и уж никак не дважды в году.

На обороте листка в самом конце все тем же мелким шрифтом тесно: «...Доступно наблюдению по всей территории Советского Союза. Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад, расположенным около Альдебарана.

Начало затмения в 16 час. 29 мин.

Момент наибольшей фазы в 18 час. 13 мин.

Конец в 19 час. 59 мин.».

Над Настинным омутом в ту ночь потусторонними голосами кричали лягушки. И лицо Майи, вскинутое к Луне, было прозрачно-русалочьим. Ее испугала улыбка мироздания — вечность висела над нами!..

С этих минут началось короткое, но великое мое счастье.

Короткое?! Не соглашусь! Если оно не вернется, жить не смогу. Без него сплошной мрак или унылая бесцветность. Если бы не знал, не испытал, то думал, жизнь такова и есть, а она, оказывается, может быть захватывающе красивой. Иной не хочу. Отравлен...

Что, если бы Майя знала, что творится со мной сейчас! Если бы она могла заглянуть внутрь, неужели бы не содрогнулась, неужели бы осталась бесчувственной! Она равнодушна к благополучным, но отзывчива на чужое несчастье. Сравни теперь, Майя, меня с Гошей Чугуновым, сравни и реши, кто несчастней и кому ты больше нужна.

«Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним!» Сострадание рождает любовь!

До сих пор я лишь жалко рассчитывал на время — жди, и желанный плод созреет, сам свалится в руки. Не существует способа ускорить события.

Есть! Есть! Надо просто открыть ей глаза на самого себя!

Колокольчик прокаженного звенит надо мной. Отвернется от прокаженного?! Хотела бы, да не сможет, сверх ее сил, противоестественно для нее!

Господи! На что рассчитывал — на ожидание: авось случится. На авось! И на годы... У Бориса Евгеньевича прошло целое десятилетие, после которого было поздно поворачивать назад.

Она близко — на Молодежной улице, стоит только сесть в автобус...

Сегодня полное лунное затмение. С лунного затмения началось тогда твое счастье...

Чайник давно вскипел и пыхтел на плите, но у меня уже не хватало терпения выпить чаю, выключил газ, вышел из кухни, натянул плащ.

Наверное, с такой вот решительностью люди, никогда не совершавшие преступлений, идут на взлом или на убийство. Где-то в глубине мозга, в его периферийном углу шевелилась рассудочно хилая мыслишка: вовремя ли вылазка, не с бухты ли барахты действуешь, оглядись, взвесь, ни час, ни день не решают... Но этот далекий рассудочный шепот вызывал лишь досадливое к себе презрение: без рефлексий не можешь, гнилой интеллигентшика! И к решительности примешивалось раздражение, почти злорадия.

С этим я и вышел на улицу.

А дождь лил и лил. И ночь, оборвавшая день вчерашний, все еще продолжалась, выкрадывая у людей утро.

#### 14

Дом номер 101 оказался напротив автобусной остановки — «с калиткой ветхой, обрушенным забором...». При дождливом рассвете ее обиталище поразило меня своей неприкаянной ветхостью и заброшенностью: щербатая, обморочно запрокинутая изгородь, неряшливо клочковатые, обнаженные кусты, ржавая осевшая железная крыша за ними. И сама калитка болезненно перекошена, как физиономия алкаша, хватившего на опохмелку ту самую первую, которая «колом». И пронизывающая серая мгла, все мокро, черно, разбухло, поникло от промозглой сырости.

Весь этот конец Молодежной улицы выглядит запущенным, несовременно нищенским. На нем печать обреченности, никто здесь не ремонтирует свои дома, не по-

правляет заборы, хозяйские руки уже не прикасаются ни к чему — ни свежеструганной доске, ни пятна яркой покраски, тусклота, кособокость, подпорки. Здесь не живут, а доживают.

Скоро ревущие бульдозеры, подымая облака пыли, свалят эту вековую бревенчатую труху, сметут с земли, освободят путь наступающему городу. И жители этого провинциального конца Молодежной улицы станут самыми обычными горожанами, для которых водопроводный кран заменит скрипучий колодезный ворот, газовая плита — печь с челом, лоджия или балкон — крылечко-веранду. А дом под номером 101, пожалуй, обветшалей других. У меня сжалось сердце: вот как выглядит снаружи Майкино счастье — перекошено и обречено!

Я стоял под навесиком автобусной остановки. Появлялись люди, ждали вместе со мной, исчезали с подходящими автобусами. Навес плохо спасал от дождя, я промок, продрог, ветер насквозь продувал меня. И в шагах двадцати, за черным, тускло отсвечивающим шоссе, за широкой лужей на обочине страдальческая калитка, ведущая в обиталище счастья, похожее на заброшенный пустырь. Да не ошибка ли? Может ли Майя жить в такой заброшенности? И есть ли тут вообще живая душа?.. Но не мог же Иван Игнатьевич дать мне ложный адрес. Я мерз и ждал, подходили и уходили автобусы, оставляя меня в одиночестве. А время тянулось и тянулось, а дождь лил и лил, день давным-давно уже вызрел, мокро поникший день, какой-то тусклолуженый. Конца ему не было.

Первое шевеление жизни за заборчиком я, как ни странно, проглядел. Увидел Гошу Чугунова, когда он вынырнул из-за кустов, завозился, открывая перекошенную калитку. Он вышел и остановился перед разлившейся лужей — в мешковатой поролоновой куртке, в кургузой кепчонке, слишком легкомысленной даже для его невнушительной бородачки.

Тяжелый грузовик с двумя прицепами, угрожающе устремленный, закрыл на секунду от меня Гошу, и, когда, овеянный брызгами, с ветром прогремел мимо, я увидел рядом с Гошей ее... Голова закутана в шерстяной платок, воротник плаща поднят, плечи вздернуты — непривычного облика, слишком простовата, ни дать ни взять аборигенка этой городской провинции, никак не та Майя, которую я видел недавно.

Ну, вот и свершилось.

Глубоко засунув руки в карманы плаща, я двинулся папскосок через дорогу, чтоб обойти лужу и встать лицом к лицу с пей. Зверовидно громадный МАЗ взвизгнул тормозами, вильнул, обдал меня водяной пылью, с пегодующим ревом ушел.

Они узнали меня, когда я подошел вплотную.

Из-под платка, скрывающего брови, распахнулись глаза — сплошные немотно изумленные зрачки. И до горловой спазмы трагически надломленные губы. В трех шагах от меня, подойти ближе уже не смог — перестали слушаться ноги.

Я хотел ей сказать, что колокольчик прокаженного звенит надо мной... Но я вгляделся в ее разверстые, остановившиеся глаза и в них увидел себя — мокрого, окоченевшего до мертвенности, измученного ожиданием, раздавленного страхом перед ней. Нужно ли ей говорить, она знает все, ничего не открою. Наверняка она знала и до этой встречи... Имела ли то высокое счастье, в каком она с горящим лицом уверяла недавно мать и отца? Может быть... Она лишь скрыла тогда, что это ее высокое отравлено мною — думает, изводится оттого, что я ею брошен в проказе... Я там, за семейным столом, не выглядел столь жалким, потому набралась сил и скрыла...

Сейчас ее губы гнулись, ресницы вздрагивали, а глаза плавилась. А я стоял и ничего не мог выдать из себя. Молчание сгущалось и давило, звон в ушах, трудно дышать. Она не смела и не считала своим правом оборвать это молчание, я понял, будет терпеть, пока в силах держаться на ногах. Я явился, я и обязан что-то сказать, сделал над собой усилие и сам поразился своему неподатливо-хриплому, простуженно-шершавому голосу:

— Мне... Мне надо посмотреть на тебя, Майка... Я уйду... Я только взгляну... Я начинаю видеть тебя всюду... Мерещишься... Я, кажется, схожу с ума, Майка...

И губы ее побелели, скулы окаменели, а из расплавленных глаз хлынуло — даже не страдание, а что-то покорное, униженное, почти собачье.

Все! Свершилось!.. Я понял это и не удивился, не обрадовался. Не слова, нет, а сам звук моего больного голоса сломал ее. Теперь она уже вместе со мной станет сходить с ума.

Мне нужно сейчас повернуться и уйти, оставить ее один на один с Гошей, со счастливым Гошей, столь непохожим на меня. И Гоша станет ей чужим, а со временем — ненавистным.

Следовало уйти, но оторвать себя от нее я не мог. Стоял, мучился, мучил ее. Не слушались ноги.

И тут выступил он.

— Старик, — сказал он, и борода его раздвинулась в широкой улыбке, светлые глаза смотрели дружески, прямо и просто, а голос задушевен и торжествен. — Что делать, старик, мы любим друг друга.

До сих пор мне было не до него — рядом Майя, ничего не существовало, кроме нее: Майя, ее глаза, ее побелевшие губы. Теперь пришлось повернуться к нему. Сухое лицо стало как будто поглаже, борода поопрятней, не столь клочковата, и глаза светлые, непорочно чистые, гляди не гляди, ни тени в них, ни пятнышка — сквозные. И узкие плечи его горделиво разведены под просторной, словно надутой, курткой, и на тонкой шее вздрагивает не закрытый бородой острый кадычок — ничуть не взволнован, не растревожен, весь параспашку, правый человек, готовый ко всепрощению и отзывчивости. Дружеская улыбка и... «Что делать, старик, мы любим друг друга». Явно без всякой задней мысли, со святой убежденностью.

Он даже и не подозревает о своей жестокости. Все видел, все слышал — перед тобой же человек с оскверненной жизнью! Хоть на секунду ощути свою вину, хоть посочувствуй. Нет! «Что делать, старик...» Делать нечего, так тому и быть. И при этом готов любить от души... Вот так, любя, с простецкой улыбкой пройдет по костям друго и не поймет. «Что делать...»

Никогда прежде не испытывал к нему ненависти. Сейчас она вспыхнула внезапно, ослепила и помutilа.

Только что мы стояли друг против друга — один шаг. Он открыто и дружески улыбался всей бородой, а я таращил на него глаза. Не помню, как я шагнул вперед, помню лишь, как мой кулак встретил его улыбку... Что-то хрустнуло под моим кулаком, и он свалился.

Раздался надсадно-раненый вопль. Перед моими глазами оказались ее безумные глаза, растянутый рот, бледное, искаженное от ненависти ее лицо.

— Т-ты!! Т-ты!! Под-лец!

Сбитый с ног Гоша неуклюже пытался утвердиться на четвереньках, и борода его на длинной тонкой шее пьяно покачивалась над грязной землей.

— Тты-ты!! Бей!! Меня бей!! Меня!!

Я не мог выдержать опаляющей ненависти, отвернулся, вяло и туно пошел прочь сквозь дождь.

Удивительно, в эту минуту я отстраненно и трезво за-



мечал все, что происходило кругом: взъерошенная дворняга подымала на забор лапу, горбаченький «Запорожец» старого выпуска промчался по шоссе в мутном облачке брызг, с автобусной остановки взирала на пас женщина с кошелкой.

15

Дома на кухонном столе лежал оторванный листок календаря — 29 ноября, пятница. Сегодня полное затмение луны...

Ее искаженное гневом и ненавистью лицо: «Подлец!! Меня бей!! Меня!!!» А за минуту до этого она меня любила. Почти любила... И: «Под-лец!!» И Гоша, ползающий по грязной земле, борода, качающаяся на тонкой шее...

Если бы он хоть имел такие же широкие плечи, как у меня. Нет, худ, тощ, никак не кулачный боец. Бил слабого! А я был всегда убежден: лучше его, заполненной, честней, добрей. Добрей?! И кулаком так, что хрустнуло.

Кровь ударила в голову... Кровь туземцев деревни Полянка, где запутанные сердечные дела парни извечно решали кулаками.

Не грехи на родную деревню. Взыграла злоба, слепая и бессмысленная, жившая в твоей глубине. Взыграл зверь, который в тебе прячется!

«Под-лец!!»

Вот и конец всему! Она уже не вернется — ни скоро, ни через год, ни через десять лет!..

Шел затяжной, ровный, холодный дождь за окном. Сумерки сгустились, день угас. Меня знобило, я сегодня еще ничего не ел. Моя человечья оболочка продолжала жить, хотела согреться, просила горячего чая. Я послушно встал, зажег газ под чайником, включил свет.

Листок отрывного календаря передо мной — 29 ноября, пятница... Буду помнить этот проклятый день.

«Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад... около Альдебарана...» Сейчас без пяти минут пять. Затмение уже началось.

Дождь за темным окном, обложной дождь над городом. Где-то там, над дождем, в кажущемся соседстве с далекой звездой Альдебаран затемняется наш величественный спутник. Где-то взрываются светила, гибнут и рождаются миры. Никому нет до этого дела на нашей Земле, кро-

ме ученых чудаков, вроде академика Маркова. Дождь, дождь над нами, скрывающий вселенную...

Тот же дождь сейчас идет и над Настиным омутом. И уже не кричат там потусторонними голосами лягушки. У нее было прозрачное русалочье лицо...

С затмения Луны у нас началось, затмением кончилось. А оказывается, эти затмения происходят куда чаще, чем я думал.

Да пусть всегда исходит на меня твой свет!

Да будешь ты вечна...

Вечность оказалась смехотворно короткой — от одного затмения до другого.

И остался для меня лишь один вечный вопрос: может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить?

День закончен. Пережил его, переживу вечер, лягу спать. И ко мне, должно быть, снова явится незнакомец, всепонятливый, страдающий призраком кого-то, живущего в стороне.

Может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить? Может, есть такие, да наяву их встретить трудно — призрачны.

29 ноября, пятница. На земле дождь, а в небесах очередное событие... над скоплением Гиад, около звезды Альдебаран. Недостигаемо далека, как эта звезда, для меня Майя. А ее-то близость и делала мне близким весь мир, все человечество. Что же, жить удаленным от всех?..

Полное для меня затмение.

• • • • •  
• • • • •  
• • • • •

Затмения преходящи. Пусть найдется такой, кто бы не проходил сквозь них.

Переплетены люди между собой. Проросли люди друг в друга многими, многими связями. А самая простейшая, самая короткая человеческая связь — Он и Она! — начало всему. В ней прочность нашего бытия. Тут чаще всего у нас рвется. Тут каждый проходит экзамен на проникновенность — он в нее, она в него! Пойми и признай человека, единственного из всех, назначенного делить с тобой путь. Пойми! Нет, трудно.

Воистину: за понимание друг друга люди платят кровью и кусками жизни.

Мы оба заплатили сполна.